

Евгений Маурин

На обломках трона



Евгений Иванович Маурин

На обломках трона

Серия «Приключения Аделаиды Гюс», книга 5

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153294

Аннотация

«При Робеспьере, особенно в последние месяцы его «царствования», террор дошел до апогея безумия. С падением Робеспьера террор пошел на убыль. Но обстоятельства сложились так, что лишь террором поддерживался дух республики.

Если разобраться строго в исторических фактах, уже при Робеспьере от республики не оставалось и следа: была навязанная народу диктатура. Но форма правления данного народа всегда определяется степенью его готовности для восприятия более совершенной формы. Если эта «степень восприятия» невелика, нечего ждать быстрого перехода к более совершенной форме. Революция 1791 года была вызвана, главным образом, экономическими причинами, но общая толща народа еще не могла усвоить себе истинные задачи народоправия. Вот почему первая республика просуществовала так недолго: у нее не было корней в народном сознании...»

Содержание

I	4
II	13
III	24
IV	37
V	51
VI	59
VII	75
VIII	86
IX	96
X	107
XI	119
XII	132
XIII	141
XIV	154
Эпилог	161

Евгений Иванович Маурин

На обломках трона

I

При Робеспьере, особенно в последние месяцы его «царствования», террор дошел до апогея безумия. С падением Робеспьера¹ террор пошел на убыль. Но обстоятельства сложились так, что лишь террором поддерживался дух республики.

Если разобраться строго в исторических фактах, уже при Робеспьере от республики не оставалось и следа: была навязанная народу диктатура. Но форма правления данного народа всегда определяется степенью его готовности для восприятия более совершенной формы. Если эта «степень восприятия» невелика, нечего ждать быстрого перехода к более совершенной форме. Революция 1791 года была вызвана, главным образом, экономическими причинами, но общая толща народа еще не могла усвоить себе истинные задачи народоправия. Вот почему первая республика просуществовала так недолго: у нее не было корней в народном сознании. Что же удивительного, если так быстро оправдилось пророчество гениальнейшего политического проходим-

¹ См. роман Е. И. Маурина «Кровавый пир».

да Фушэ: «Сам не сознавая этого, Робеспьер работает для другого, неведомого, того, который еще должен прийти».

Действительно Робеспьер подготовил Францию к диктатуре, которая впоследствии превратилась в империю. Вся послеробеспьеровская эпоха является логическим переходом к наполеоновщине. При Робеспьере диктатура оставалась еще в области идеи, она была непосредственно связана с самой личностью Робеспьера, но не формулировалась определенным законом. Номинально правил народ, только фактически власть сосредоточивалась в одних руках. А с падением Робеспьера диктатура стала занимать все более равное место в законе об управлении, пока не вылилась в прежнюю форму единодержавия, при котором народоправию уже не отводилось никакого места даже номинально. «Неведомый», который, должен был прийти и для которого бессознательно работал Робеспьер, лишая республику ее жизненных соков, оказался еще большим деспотом, чем, пожалуй, прежние французские короли.

Этим «неведомым» был Наполеон Бонапарт. Наполеон, родившийся в 1769 году, происходил из патрицианской корсиканской семьи. Он выделился впервые при взятии Тулона (1793 г.), состоя в чине капитана артиллерии. В первой итальянской кампании (1794 г.) он уже участвовал в чине бригадного генерала. Но хотя ему было в то время всего лишь двадцать пять лет, в этой быстрой карьере отнюдь нельзя усматривать раннее признание его таланта. Республика нуж-

далась в образованных офицерах, офицеры-роялисты или эмигрировали, или были казнены, и их же участь разделили многие республикански настроенные военачальники, со стороны которых правительство Робеспьера могло опасаться военной диктатуры. Вот почему всякий мало-мальски способный офицер делал быструю карьеру. Но многие из тех, которые впоследствии служили в первой империи маршалами, в это время были несравненно более на виду, чем Бонапарт.

После падения Робеспьера и в краткое время господства термидорийцев Бонапарт оказался в немилости. Между тем он вообще не занимался политикой. Он уже питал великие планы, но ничем не выказывал их. В душе он относился совершенно равнодушно даже к республиканской свободе. Правда, великий красноречивый и любитель громким словом поднять дух солдат, Наполеон пользовался эффектными разглагольствованиями о свободе и республике, чтобы создать для армии яркий боевой стимул. Но это был прием искусного военачальника, а не крик души искреннего республиканца.

Итак, Наполеон оказался в немилости. Оставалось лишь ждать когда придет его час. Этот час пробил 13 вандемьера (октября) 1795 года, когда понадобилась беспринципность молодого генерала для спасения директории.

Погубив Робеспьера, термидорийцы отправили на эшафот всех его единомышленников и клеветников. Погиб и Фу-

кье Тенвиль, обвинитель революционного трибунала, обвинявший сначала врагов Робеспьера, а потом и его самого. Последнее не спасло Тенвиля, ему пришлось разделить участь павшего диктатора.

Но вскоре пришел черед и термидорянцев. Они недолго оставались у власти, в конвенте стал наблюдаться резкий поворот к умеренности политических воззрений.

Тем временем роялисты воспользовались общей политической неурядицей и подняли голову. Народные волнения следовали одно за другим. Толпы черни являлись к зданию конвента и требовали «хлеба и конституции». Читатели помнят из романа «Кровавый пир», что Робеспьер с друзьями непрерывно оттягивали срок введения конституции в действие. То же самое продолжалось и теперь, и когда 22 августа 1795 года конвент обнародовал вступление в силу конституционных гарантий, то оказалось, что это – уже не прежняя, а совершенно видоизмененная конституция.

По конституции 1795 года власть вручалась директории, состоявшей из пяти директоров. Каждый из директоров в течение пяти месяцев именовался президентом. Законодательная власть была распределена между советом молодых, так называемым «советом пятисот» (по числу членов), который составлял законы, и «советом старейшин» (из 250 членов), который мог отвергать эти законы, если находил их противными духу конституции.

Таким образом, в директории уже сказался явный пере-

ход к узаконенной диктатуре: число лиц, правивших государственным рулем, сокращалось до пяти.

В обнаружении конституции роялисты усмотрели серьезную опасность: если народ освоится с этой новой формой правления, его будет трудно поднять на восстановление прежней. И вот роялисты в вандемьере (октябре) 1795 года подняли восстание. Против сорока тысяч восставших конвент мог противопоставить всего каких-нибудь две тысячи. Были спешно вытребованы войска из саблонского лагеря, депутатам были розданы ружья.

С самого начала в обращении с повстанцами-роялистами не было проявлено надлежащей твердости. Генерала Мелу, назначенного главнокомандующим войсками конвента, пришлось сейчас же сменить из-за подозрительной снисходительности к роялистам. Но и заменивший его Баррас повел себя настолько нерешительно, что мятежники осмелились в самой дерзкой форме поставить ультиматум конвенту, и этот ультиматум стали даже обсуждать. Вдруг прения по этому поводу были прерваны грохотом пушек. Оказалось, что генерал Бонапарт, которому было поручено занять улицу Сент-Онорэ, самым спокойным образом принялся аргументировать картечью. Роялисты обратились в бегство, оставив на месте сотни убитых. Мятеж был ликвидирован.

Теперь правительство принялось за государственное строительство. Душой директории стал Баррас, заведовавший полицией и внешним представительством. Хотя воен-

ными делами заведовал Карно, но благодаря Баррасу Бонапарт получил ответственное назначение на пост генерала-главнокомандующего итальянской армии, терпевшей неудачи под командой генерала Шерера. Большую роль в этом назначении сыграла Жозефина Богарнэ.

Жозефина была вдовой генерала Богарнэ, казненного в 1794 году. Креолка родом, до крайности пустая, легкомысленная, некрасивая, но крайне привлекательная, способная кружить головы, Жозефина играла большую роль в веселящемся обществе того времени. Ее любовники насчитывались десятками. Среди них был и Баррас.

После «блестящего» усмирения мятежников на улице Сент-Онорэ генерал Бонапарт стал героем парижского общества. Дамы заинтересовались двадцатилетним «героем», до крайности неловким в обществе, серьезным и неумелым в обращении с женщинами; В числе их была и тридцатидвухлетняя Жозефина. Она стала кокетничать с Бонапартом и сумела быстро влюбить его в себя. Однако тут же испугалась. Бонапарт оказался таким неистовым, таким бурно-пламенным, каким она не рассчитывала встретить его под внешней корой ледяного равнодушия, которой обычно было облечено все существо серьезного генерала. Жозефина пыталась отделаться от неудобного поклонника, но при настойчивости Бонапарта это было нелегко сделать. Не обращая внимания на разницу в возрасте, на легкомысленную репутацию молодой женщины, Бонапарт сделал ей предложение. После

некоторой борьбы Жозефина приняла это предложение. Она обратилась к старому другу Баррасу с просьбой дать ход Бонапарту, так как вовсе не желала быть женой какого-то «полицеймейстера», которого используют только для усмирения взбунтовавшейся черни. Так в 1796 году состоялось назначение Бонапарта в итальянскую армию.

Бонапарт бурей пронесся по Италии, слава французского оружия была вознесена до небывалых высот. В Париж Наполеон вернулся уже признанным героем.

Теперь Наполеон Бонапарт задумал решительный ход, сказавшийся в египетском походе. Вот как он объясняет свои мотивы в «Воспоминаниях», которые вел на острове Святой Елены и в которых всегда говорил о себе в третьем лице: «Чтобы Бонапарт стал хозяином Франции, директория должна была потерпеть неудачи в его отсутствие, а с его возвращением и победа должна была вернуться к французским знаменам». Действительно, в то время как Бонапарт победоносно (и совершенно бесполезно, к слову сказать) пронес французское знамя по Египту, во Франции дела приняли плохой оборот. Французская армия стала терпеть поражения, директория скомпрометировала себя в глазах народа неудачными законами, роялистское движение все усиливалось. Бонапарт счел момент удобным для совершения переворота. Он покинул армию и явился в Париж 18 брюмера (9 ноября) 1799 года. Бонапарт при барабанном бое, заглушавшем протесты, солдатскими штыками выгнал депутатов «со-

вета пятисот» из зала заседания. Конституция была отменена, органом правительственной власти стало консульство из трех лиц. Первым консулом, главой правительства, оказался, конечно, Бонапарт. Таким образом диктатура пяти членов в директории заменилась диктатурой консульства из трех членов. Вскоре Бонапарт заставил признать себя пожизненным первым консулом: теперь число «три» сократилось до «единицы»!

Став консулом, Бонапарт сразу показал себя во весь идейный рост. Достаточно упомянуть, что он восстановил рабовладельчество в колониях. И это делалось под прикрытием республиканского знамени, провозгласившего свободу главным и непогрешимым догматом грядущего строя!

Но о республике теперь говорить было уже нечего. Она кончилась совсем не 18 мая 1804 года, когда Бонапарт приказал провозгласить себя императором. Агонизировавшая под ударами робеспьеровской гильотины первая французская республика фактически скончалась под ударами штыков, которыми солдаты Бонапарта изгоняли из зала депутатов, а из Франции – конституцию и законность!

Дальнейшая судьба Наполеона, как императора, общеизвестна. Но она нас в данном случае и не интересует. Наше повествование относится к тому времени, когда на обломках королевского трона робко и смутно стал вырисовываться силуэт императорской короны. Побег новой формы единодержавия уже пробивались из-под развала старой. Все виде-

ли их, никто не придавал им значения. Но когда на вырубленной полянке мы видим тоненькие зеленые веточки, робко жмущиеся к угрюмым пням, разве мы отождествляем эти побеги со срубленными гигантами?

II

– Парижане удивительно напоминают мне мух осенью! – сказал Франсуа Жозеф Тальма, стоя у большого венецианского окна в директорском кабинете и любясь видом пестро разодетой толпы, заполнившей улицу. – Вы обращали когда-нибудь внимание? Подует холодный ветер, и мухи безжизненно валяются, где попало. Но стоит только первому солнечному лучу обогреть их, как они уже снова жужжат, словно ничего и не было! Вы посмотрите только на эту массу народа! А что делается на главных улицах! В открытых кафе – ни одного свободного столика!

– Ну, это так понятно! – ответил директор «Комеди Франсэз». – После ужасающего сентября и невозможного начала октября небо вдруг подарило нас истинно летним днем, и нет ничего удивительного, если парижане устремились на воздух!

– Да нет, вы меня не поняли! – возразил Тальма. – Я имею в виду вовсе не капризы погоды и не сегодняшний день! Меня поражает, как быстро парижане забыли все ужасы недавнего прошлого. Три года отделяют нас от «сентябрьских убийств», меньше двух – от «эпохи фурнэ» и менее двух недель от событий «тринадцатого вандемьера». А ведь возьми тогда верх роялистские инсургенты, и «сентябрьские убийства» повторились бы снова, только в обратном направ-

лении. Страшно подумать! Но парижане и не хотят думать, не хотят вспоминать! Они весело жужжат, как ожившие мухи, сразу забыв о холодных ветрах и морозах. Недавно я был на завтраке у госпожи Гильом. К концу завтрака приехали две прославленные распутницы – Тереза Тальен и Жозефина Богарнэ. Зашел разговор о предстоящем вечере у Барраса в честь «генерала Вандемьера»², и обе трещотки начали непрерывно жаловаться, что с портнихами и сапожниками просто слада нет. Весь этот народ ужасно обнаглел, дерет страшные цены, ничего не делает вовремя, грубит – просто ужас! «Ну знаете, сударыни, – пошутил я, – прежде все-таки было хуже, когда эти сапожники и портные тащили нас на гильотину, если только не расправлялись собственноручно тут же, на улицах! Вот было ужасное время! Все мы сидели по своим углам, забаррикадировав двери и вздрагивая при малейшем шуме. Впрочем, вам все это хорошо известно, потому что, насколько помнится, вас обеих выручило из тюрьмы только падение Робеспьера!» Не успел я договорить, как обе дамы окинули меня взором гневного презрения, встали и ушли, сказав госпоже Гильом, что зайдут в более удобное время. А госпожа Гильом очень добродушно заметила мне: «Милый Тальма, хоть вы и – великий актер, но не надо забывать светские приличия! В Париже не принято теперь вспоминать об этих ужасах. Это – дурной тон». Как вам это понравится, а?

² Так прозвали Бонапарта после его «мастерского» усмирения бунтовщиков тринадцатого вандемьера.

Вспоминать о том, что так болезненно коснулось всей Франции, – дурной тон!

Директор хотел что-то ответить, но в этот момент в кабинет вошел слуга с «листком для посетителей» на подносе. Директор взял в руки листок и громко прочел:

– Аделаида Гюс!

– Аделаида Гюс! – воскликнул Тальма, сейчас же забывая изменчивость парижан и равнодушие золотой молодежи к прошлому. – Знаменитая Адель! Господи, ведь о ней давно уже не было ничего слышно! Вы знаете, ведь я ее помню! Мне было лет девять или десять, когда меня однажды взяли в театр на парадный спектакль. Присутствовал какой-то иностранный принц, давали «Заиру». Потом говорили, что принц серьезно увлекся Аделью. И понятно! Какое редкое сочетание поразительной красоты и таланта! Просто не понимаю, где она могла быть все это время? О ней ничего не было слышно. Да ведь между тем, какое дарование и внешность...

– Милый Тальма, – перебил его директор, – это было лет двадцать пять тому назад?

– Да, около того.

– Но ведь Гюс не была тогда в начале своей карьеры.

– О, нет! Она была в полном расцвете лет, и за нею уже значился длинный ряд успехов на сцене и в жизни. Поэты слагали в ее честь оды, князья и принцы крови и капитала несли к ее ногам...

– Значит, ей было не менее двадцати лет тогда? – снова перебил его директор.

– Конечно, нет, даже больше! По-моему, ей было тогда никак не менее двадцати пяти или даже...

Тальма вдруг замолчал, заметив, с какой коварной улыбкой смотрел на него директор.

– Что же вы не продолжаете, милый Тальма? – сказал директор. – Значит, ей было не меньше двадцати пяти, если не больше. А было это около двадцати пяти лет тому назад? Ну, так немножко элементарной арифметики, и вы сразу найдете ответ на свое недоумение, почему талант и бывшая внешность не смогли помочь ей удержаться на подмостках до сих пор! Я уже проделал этот подсчет и потому два раза уклонялся от приема.

– Но теперь вы примете ее? – спросил Тальма, подхваченный жалостью к скатившейся звезде парусинового неба.

– К чему? – с оттенком грусти ответил директор вопросом на вопрос. – Вы знаете, что премьерши никогда не свыкаются с мыслью о старости. А ведь Гюс пришла просить места. Что могу я предложить ей? Наша труппа в полном составе. Или, может быть, мне отпустить актрис и передать Гюс роли молодых девушек? Неужели вы думаете, что такая «бывшая величина», как Гюс, не примет за оскорбление, если я предложу ей второстепенные старушечьи роли?

– Но нельзя же отказывать просителю в приеме на основании одних только предположений! – взволнованно возра-

зил Тальма. – Откуда вы можете знать, что у Гюс непременно должны быть большие претензии? А, может быть, она терпит нищету, наголодалась и теперь будет рада какой-нибудь сотне ливров в месяц? Как бы полна ни была наша труппа, но бюджета «Комеди Франсэз» не отягчит лишняя сотня, в которой сцена не имеет права отказать «бывшей величине»! А, кроме того, почему вы решаете сразу, что для Гюс не найдется роли, кроме второстепенной? Вот мы с вами только что говорили о восстановлении некоторых шедевров классического репертуара. Скажите мне, пожалуйста, с кем вы поставите хотя бы «Аталию»?

– Уж не Аделаиде ли Гюс играть Аталию?

– А кто имеет на это больше прав и оснований?

– Но вашей Гюс пятьдесят лет!

– А сколько могло быть Аталлии, если она – бабушка взрослого внука? Нет, дорогой директор, восстанавливайте классические пьесы, но не классические ошибки! Я знаю, что прежде Аталию играли совсем молодой, но я уже не раз говорил вам, что немедленно отрясу прах от своих ног, если «Комеди» не отрешится от рутины, если в сценическое творчество не будет внесен более свежий, более естественный дух! Но, конечно, раз господин директор будет во всем исходить из предвзятого, непроверенного мнения, если...

– Но не волнуйтесь, дорогой Тальма! – ласково остановил директор расхोдившегося актера. – Вы знаете, я никогда не противоречу вам в ваших сценических реформах и начина-

ниях и вижу в вас великого обновителя французской сцены! Но в данном случае мы далеко ушли от непосредственной темы нашего спора. Вы хотите, чтобы я принял госпожу Гюс? Отлично! Жозеф, попросите эту даму войти!

Жозеф, с бесстрастным лицом слушавший этот спор, спокойно повернулся и возвратился в приемную. Но бесстрастие сразу слетело с его лица, когда он быстрым шепотом посвятил просительницу в суть разговора между директором и Тальма: Жозефу было хорошо заплачено за такое внимание.

При появлении Адели в кабинете Тальма с нескрываемым интересом впился взглядом в ее лицо, а директор невольно встал ей навстречу. Ведь эта женщина представляла собой целую блестящую страницу славного прошлого французского театра, ведь ее в ореоле славы видели подмостки прежней, истинной³ «Комеди Франсэз»! Правда, теперь пора блестящего расцвета, участницей которого была Гюс, казалась во многом смешной, и то, чего безуспешно добивались Лекен и Клэрон⁴, уже вошло в плоть и кровь сценического творче-

³ Театр «Комеди Франсэз» был основан на улице Фоссэ-Сен-Жермэн. В предреволюционную эпоху среди артистов произошел раскол на почве разности политических взглядов. Часть труппы (в том числе и Тальма) основали в здании Пале-Рояля (на улице Ришелье) другой театр. Прежний, под названием «Театра Нации», ставил антиреволюционные пьесы, а новый, называвшийся сначала театром «свободы, равенства и братства», а потом «Театром Республики», всецело отдался революционному течению. Республиканское правительство закрыло первый театр. После падения Робеспьера остатки обеих трупп соединились в театре на улице Ришелье, где театр «Комеди Франсэз» существует и поныне.

⁴ По давней традиции на сцене (равно как и в живописи) античные и библей-

ства. Словно несколько столетий отделяло эпоху Гюс от эпохи Тальма. Но именно это и увеличивало в глазах директора ореол Аделаиды Гюс. Так мы обнажаем голову перед старой, ненужной, обветшалой, потускневшей реликвией, наглядно говорящей нам о славе былых веков.

С иным чувством смотрел на Адель Тальма. В этот момент он забыл о том, что он – великий актер, предтеча новых веяний, мощный реформатор сцены. Он почувствовал себя тем самым мальчиком, который жадно ловил каждое слово Заиры, тогда как вид прекрасной артистки впервые пробудил в невинном доселе сердце отрока ранние томления чувственности. Сколько ночей не спал он тогда, мечтая о дивной Гюс, воссоздавая в воображении каждую линию, каждый изгиб ее прекрасного, пластического тела!

Да, словно и не прошло с тех пор двадцати пяти лет, с таким молодым чувством встретил Тальма входившую Гюс. Но едва только он кинул взор на артистку, как сейчас же резко

ские герои облекались в современные представлению одеяния, и греки, римляне или иудеи щеголяли в бархатных камзолах с кружевами, при напудренных париках и шпагах. В половине XVIII века актер Лекен и актриса Клэрон восстали против подобных анахронизмов, но их протесты вызвали только насмешки. Тальма тоже вступил в борьбу с этой нелепой традицией, требуя, чтобы быт эпохи, к которой относится представление, воспроизводился по уцелевшим памятникам древности: статуям, вазам, медалям и т. п. Очень быстро ожесточенный протест актеров против такого новшества сменился признанием взглядов Тальма, которые в эпоху настоящего рассказа были всецело усвоены. Точно так же Тальма страстно ратовал за простоту чистки роли без напыщенной фальшивой декламации, что являлось большим злом в сценическом творчестве прошлого.

отвернулся к окну. В душе увлекающегося художника плакала оскорбленная мечта. Неужели это была Гюс? Неужели это была греза его отрочества?

Но Адель не заметила этого жеста. Директор подвинул ей кресло, попросил присесть и спросил:

– Чем могу служить вам, сударыня? Впрочем, что я и спрашиваю! Имя Гюс само говорит за себя, и, конечно, вы хотели бы...

Он несколько замялся.

– Да, я хотела бы попытать счастья, может быть, для меня найдется местечко в труппе? – ответила Адель.

– О, почему бы и нет! Но... это, конечно, зависит... Поймите сами, сударыня...

– Я отлично понимаю! – ответила Адель, грустно усмехаясь. – Ведь я не из тех, которые до гроба строят себе иллюзии. О, мое время прошло! Я знаю, что не могу рассчитывать на прежнее, о, нет! Но я думала... что-нибудь маленькое... Все-таки за мной – большой опыт. Правда, я уже несколько лет, как отошла от сцены, но разве этому можно разучиться? Да и тоскливо, хмуро стало мне на душе без театра на старости лет. Старая собака подползает к ногам хозяина, чтобы умереть около того, кому она служила всю свою жизнь. Я – такая же собака.

Голос Адели дрогнул, она стиснула зубы и нервно затеребила платок, который держала в руках.

Тальма резко отвернулся от окна, взволнованно подошел

к Адели и с дрожью в голосе сказал:

– Напрасно вы говорите так! Талант не имеет возраста! Вы не поняли слов господина директора; и это причинило вам страдание. Господин директор хотел лишь указать на то, что изменение наружности логически влечет за собой изменение характера исполняемых ролей. Прежде вы играли молоденьких, теперь вы должны перейти на роли пожилых. Тут нет ничего обидного и позорного. Нет плохих ролей, существуют только плохие актеры. Может быть, вы знаете, что свое имя я составил себе Карлом IX⁵, ролью, от которой отказывались все остальные актеры! Ну, так не надо же унижать себя! Такая сила, как Аделаида Гюс, всегда желательна во всякой труппе. Мало ли ролей, в которых вы можете потрясти публику? Аталия, королева в «Гамлете», Екатерина в «Карле», да разве их перечтешь? Кроме того, господин директор хотел еще сказать, что теперь дела театра далеко не прежние, никаких субсидий нет, расходы увеличились, а потому артисту придется быть скромным в своих гонорарных требованиях. Сразу на большое жалование вы рассчитывать не можете, но не потому, что «ваше время прошло», а потому, что времена вообще переменялись. Я извиняюсь, что взял на себя сме-

⁵ Когда было решено поставить пьесу Шенье «Карл IX, или Школа королей», никто из труппы не хотел браться за исполнение заглавной роли, не решался выйти перед публикой в роли отвратительного монарха-убийцы. За роль взялся Тальма, он подчеркнул зависимость Карла от матери и так выпукло представил страдания короля от упреков совести, что роль получила совершенно новое освещение, пьеса имела бурный успех, а Тальма сразу выдвинулся на первый план.

лость говорить от имени господина директора, но перед вашим приходом мы уже обсуждали кое-что касательно этого вопроса, а потому я в курсе намерений дирекции. К тому же я видел, что ваши переговоры сразу принимают неправильный оборот, и хотел избавить вас от ненужного самоуничтожения. Вот и все. Аделаиде Гюс первая французская сцена не имеет права отказать в ангажементе. Вопрос только в том, удовлетворитесь ли вы скромными условиями. Но это – вне моей компетенции, а потому, чтобы не мешать вам стовариваться, я покидаю вас! Имею честь кланяться! – и Тальма взволнованно вышел из кабинета.

Словно зачарованная смотрела ему вслед Адель. Горячей волной пронизывало ее обаяние этого стройного, высокого мужчины с царственной головой, тонким, нервным лицом, орлиным носом и пламенными, выразительными глазами! А голос, голос! Мягкий, звучный, богатый интонациями, так и льющийся от сердца к сердцу! И с какой горячностью он вступился за нее, как он должен любить свое дело, если страдания артистки, некогда знаменитой, но теперь оставшейся за колесницей убегающего времени, преисполняют его сердце такой острой жалостью!

Но только ли одной жалостью?

Женщина неисправима, существуют иллюзии, от которых она никогда не в силах отделаться окончательно. Что бы ни говорили ей зеркало, разум, сознание, в тайном уголке ее души вечно дремлет надежда на то, что ее обаяние еще не утра-

чено окончательно.

Так и Адель. Она была совершенно искренна, когда сказала: «Мое время прошло». И все же, словно в тумане слушая директора, говорившего об условиях, Адель с робкой радостью прислушивалась к еле слышной песенке, которую запевали птицы надежды в ее еще неизжившем сердце.

III

Вечерело. На улицах еще дрожали последние лучи солнца, но в конторе Пьера Фрибура стало уже совсем темно.

Гаспар Лебеф с трудом дописал последние строки и, положив перо, с облегчением расправил замлевшую в долгом изгибе спину. Его взор со сладкой грустью скользнул по комнате. Теперь, когда вечерние тени скрадывали отдельные детали, казалось, будто эта комната – все та же, прежняя, будто в ней ничего не изменилось за сорок лет. Вот там же, в том углу, склонялась над бумагами седая голова старого дяди Капрэ. Сколько надежд было связано тогда у юноши Гаспара с этой седой головой! И все неожиданно скомкалось роковой страстью к восходящей звезде, Адели Гюс! В клочья разметались все виды на будущее, все расчеты на мирную, буржуазную жизнь. Дяде Капрэ пришлось оставить надежду передать все дело племяннику, он продал контору старому клерку Жозефу Фрибуру. И вот пришел момент, когда Гаспару пришлось увидеть на том же месте другую седую голову. Ах, сколько искушения открылось перед Лебефом в тот момент, когда голова Жозефа оторвалась от бумаг и поведала ему условия получения наследства, оставленного старым Капрэ! Ведь Гаспару стоило только произнести каких-нибудь пять слов: «Я порвал с Аделаидой Гюс», и все наследство было бы без всяких затруднений вручено ему! Но он не мог сказать

заведомую неправду, Адель не разрешала его от легкомысленно данной клятвы. И вот пришел момент, когда из того же угла поднялась новая седая голова, голова Пьера Фрибура, сына Жозефа. Это было в тот момент, когда Лебеф пришел смиренно просить места в той самой конторе, где мог бы быть хозяином...

Лебеф отмахнулся от воспоминаний. К чему они? Разве теперь можно изменить что-либо? Каждый должен покорно и терпеливо пожинать то, что посеял сам. Гаспар встал, сложил бумаги и сказал:

– Я пойду, патрон! Я кончил.

– Ну, конечно, ступайте, милый мой Лебеф! Напрасно вы сидели так поздно, ведь спешных дел нет. Эх, и охота вам корпеть над трудом жалкого поденщика, когда вы могли бы жить в довольстве и почете! Пять слов, всего только пять маленьких слов! Никаких формальностей, никакой ответственности! Хоть убей, не понимаю я вас, мой милый!

– К чему мы будем снова заводить этот разговор, патрон? – грустно заметил Гаспар. – Разве мы мало беседовали с вами об этом? Дядя только потому и не обставил получения наследства формальностями, что знал меня и был уверен, что я не нарушу его воли. Так должно быть, так будет. Я пойду. До завтра, патрон!

Гаспар вышел на улицу. День быстро угасал, но повсюду царило шумное оживление. Парижане спешили вознаградить себя за прошедшее тяжелое время, когда власть, слов-

но мертвая голова в бесовской игре, перебрасывалась из рук в руки, обдавая все вокруг фонтаном горячей крови. Тогда было не до веселья, не до развлечений. Каждый стремился поскорее укрыться в свою нору; бывало так, что целые семьи сидели по двое суток без хлеба, не осмеливаясь выйти на улицу, и с тоской поглядывали на бесполезные деньги. А сколько несчастных сошло с ума от вечного страха, сколько их погибло на эшафоте только потому, что, не вынеся муки ожидания, они бросались на улицу и в припадке безумия возводили на себя страшные преступления!

Но все прошло. Время исключительных положений миновало. Конституция, наконец-то опубликованная хотя и в урезанном виде, гарантировала гражданам безопасность от административного произвола. Попыткам роялистов использовать в своих целях наступившее спокойствие был положен решительный конец. Тучи рассеялись. Теперь парижане могли снова стать самими собой. И опять после долгого затишья улицы наполнились шумной разряженной толпой, так и сыпавшей шутками, смехом, искрометным весельем.

Лебеф задумчиво лавировал среди толпы. Его мысли перескакивали с одного на другое. Он размышлял о заколдованном наследстве, которое лежало так близко и в то же время так далеко, думал, удастся ли новая попытка Адели устроиться в театре, и о том, как изменилась она за последние два года.

Да, только два года прошло с тех пор, как погиб Робес-

пьер. Какое дьявольское торжество светилось в глазах Адели, когда с безумным хохотом, дикой пляской и страстными выкриками она описывала страдания сраженного ее выстрелом, оплеванного ею диктатора!

Несколько дней она была сама не своя, и что-то жуткое, болезненное чувствовалось в ее торжестве. Затем она слегла, болела долго и тяжело, а когда оправилась, ничто не напоминало в ней разнузданной мегеры эпохи террора. Адель стала тише, мягче, ласковее, и нередко с ее уст слетало прежнее обращение «братишка», такое наивно-причудливое в устах этой пятидесятилетней женщины по отношению к пятидесятипятилетнему старику.

Лебефа не удивила резкая перемена в характере Адели. Он знал из прошлого, как катастрофичны бывали для нее бурные взрывы страстей. Разве не стихла она после орловского удара хлыстом? Разве не безупречна была ее жизнь, когда она в тиши готовила страшный удар гордому фавориту, надеясь на отмщение? И какой дикой, истерической разнузданностью сменилась эта безупречность, когда удар миновал фаворита, когда судьба отказала ей в справедливом возмездии!

Да, Лебеф лучше кого-либо другого, лучше самой Адели знал эту бесконечно мятущуюся душу, наивную в своем неведении добра и зла. Это была истинная артистическая натура, вся в изломах, в надрывах, в контрастах. И ведь как ни наполнена была жизнь Аделаиды Гюс распутством, ко-

варством и обманом, она все же не была дурной. Ведь поэта, художника, а в особенности актера, нельзя судить общим судом, мерить общей меркой. Артист живет в им самим созданном мире, который так ярок и красочен, что настоящая жизнь начинает казаться ему скучным, ирреальным сном. К тому же еще актер живет на сцене в области условной морали. Играя героинь после злодеек, распутниц после подвижниц, могла ли Адель не перенести этой условности и в мораль обыденной, действительной жизни?

Нет, затишье души Адели не удивляло Гаспара. Зато оно сильно заботило его. Лебеф понимал, что в этом затишье зреют новые бури. Адель дошла до того рокового предела, когда пустота личной жизни осознается особенно остро, становится особенно невыносимой. До Крюшо она никого не любила, разве только Лельевра. К Крюшо она привязалась со всем пылом стареющей, лишь чудом сохранившейся женщины. Эта любовь могла бы даже спасти Адель, и, удайся тогда их план – сорвать крупную ставку и бежать за границу, можно было бы поручиться, что Адель кончила бы свои дни в мирной буржуазной жизни. Но судьба вырвала у Адели эту последнюю возможность личного счастья. Примирится ли бывшая красавица, что это была действительно «последняя страница» ее жизни как женщины?

Нет, на это было мало надежды. Только смерть окончательно охладит эту пронизанную пламенной жаждой жизни душу! А в особенности теперь, когда Адель лишена вот уже

который год привычной сферы деятельности. Хорошо было бы, если бы ей удалось пристроиться в труппу; возврат к сцене отвлек бы ее от не погасшей под пеплом временного затишья надежды еще использовать обаяние своего тела, обаяние, утраты которого она все еще не сознавала...

Думая так, Гаспар машинально лавировал среди густой толпы, особенно стесненной в этом месте, где половину тротуара занимали столики открытого кафе. Вдруг кто-то схватил Лебефа за рукав и весело воскликнул:

– Постой, гражданин Лебеф! Куда ты так спешишь? Вот кто разрешит наш спор, братцы!

Гаспар от неожиданности сильно вздрогнул. Неожиданным было для него и это внезапное вторжение в его задумчивость, да и само обращение «гражданин», которое в то время уже начинало исчезать и удерживалось только в армии. Но остановивший его именно принадлежал к последней: это был молодой капитан Жюно, сидевший за столиком с капитанами Бертье и Мармоном.

– Рад служить, чем могу, гражданин капитан, – ответил Лебеф, оправившись от первого момента растерянности. – Но я действительно тороплюсь.

– Э-э-э! Пустяки! Да мы и не задержим! – весело отозвался Мармон. – Вот в чем дело, гражданин: ведь ты жил некоторое время в России, бывал при дворе Екатерины и, наверное, встречал там Суворова.

– Да, я встречал его и даже не раз беседовал с ним. Но это

было в раннюю пору его деятельности, когда имя Суворова еще не говорило так много, как теперь.

– Но ты все-таки мог составить себе понятие о нем, как о человеке? – спросил Жюно.

– О, еще бы! Эта оригинальная личность сильно заинтересовала меня, я с напряженным вниманием следил потом за его жизнью, и мне не раз приходилось беседовать о нем с лицами, хорошо его знавшими!

– Ну, так что он за человек?

– Разве можно определить в нескольких словах такую сложную натуру, как Суворов? – ответил Лебеф.

– Нет, видишь ли, наш спор вот о чем, – пояснил Жюно. – Поговаривают об образовании новоевропейской коалиции, с Россией во главе. До сих пор Россия была занята польскими делами, с поляками уже покончили, и надо ожидать, что теперь опять возьмутся за нас. Ну, а если это так, то, конечно, во главе армии поставят Суворова. Вот мы и заговорили о нем, сначала как о полководце, потом как о человеке. Бертье уверяет, что Суворов – просто стихийная сила, что это грубый, дикий варвар, дикарь без стыда и совести, безжалостный холоп тиранов...

– О, в чем угодно, но только в холопстве Суворова никак нельзя обвинить! – воскликнул Лебеф. – Да как у вас повернулся язык выговорить подобное обвинение! Для своей гениальности Суворов двигался по службе слишком медленно, потому что не хотел угождать фаворитам императрицы. У

него бывали постоянные столкновения с Потемкиным, а все- сильного Зубова он просто третирует, хотя даже пятидесятилетний Кутузов считает за честь дожидаться пробуждения этого низкого временщика, чтобы собственноручно сварить ему чашку кофе и лично принести ее на подносе в спальню! Вот где холопство! А Суворов...

– А Суворов не постеснялся получить семь тысяч душ из награбленных польских имений в награду за свои зверства в Польше! – запальчиво перебил Бертье.

– Зверства! Как можно так говорить? – укоризненно заметил Лебеф. – Суворов действовал именем своей повелительницы, которой присягал в верности. Раз Россия решила покорить вечно мятежную Польшу, мог ли Суворов, верный сын своей родины, отказаться от завоевания?

– Но Суворов пролил реки крови!

– Кровь лилась с обеих сторон.

– Да, но поляки сражались за свободу, а Суворов – за порабощение!

– Ты путаешь понятия, гражданин капитан! – возразил Лебеф. – Нигде не было так мало свободы, как в Польше, и даже в России, несмотря на страшное крепостное право, мужику живется лучше, чем жилось польскому холопу. Не за идеальную свободу, не за ту свободу, ради которой встали мы, французы, бились поляки. Они бились за свободу произвола, и не польский народ, а польское владетельное дворянство восстало на Россию. Но это только так, к слову. Су-

воров действовал, как солдат, не раздумывая и не рассуждая, а только исполняя приказ того правительства, которому он служит. Если бы он поступил иначе, он был бы предателем и изменником!

– Он все равно – предатель и изменник перед лицом истины, так как осмелился встретить картечью народ, отстаивавший свое право на национальную самостоятельность! – пламенно воскликнул Бертье. – Надо быть зверем и негодяем, чтобы сердце не дрогнуло жалостью к людям, предпочитающим смерть рабству!

– В таком случае в твоих глазах и я тоже – зверь и негодяй, Бертье? – произнес сзади Лебефа чей-то голос.

Все изумленно обернулись и увидели невысокого, коренастого, худощавого военного, который уже некоторое время незаметно прислушивался к разговору. Этот военный был некрасив, казался изнуренным и истомленным заботами, и все-таки в его лице было нечто отпугивавшее и чаровавшее, уже во всяком случае заставлявшее забывать об обычных мерках красоты человеческого лица.

– Бонапарт! Генерал Вандемьер! – одновременно воскликнули Бертье, Мармон и Жюно. – Присаживайся к нам!

– Так как же, друг Бертье? – продолжал Бонапарт, не обращая внимания на приглашение. – Значит, и я тоже, по твоему, – зверь и негодяй? Ведь я тоже разогнал картечью банду роялистов-повстанцев!

– Как ты можешь сравнивать! – негодуя воскликнул

Бертье. – Роялисты – враги народа, которому ты служишь, а...

– А поляки – враги России, которой служит Суворов! – холодно перебил его Бонапарт, резко отчеканивая каждое слово. – Тут нет никакой разницы, друзья мои! Роялизм – такой же принцип, как и республиканизм, не более и не менее, не лучше и не хуже! Скверно, когда принцип служит лишь предлогом, лишь щитом для дурных, порочных наклонностей. Но об этом я не говорю, я беру чистое служение принципу. Если сталкиваются два враждебных принципа, – то тут нет ни правых, ни виноватых, ни героев, ни злодеев. Тут только слабый и сильный! Кто смеет сказать, что роялист не прав, если он с оружием в руках идет ниспровергать ненавистный ему принцип народоправия? Но солдату нет дела до нравственной правоты своего противника! Солдат не рассуждает, он исполняет данный ему приказ, он честно несет свою службу! Бертье! Ты знаешь, как я люблю и уважаю тебя! Но если я, генерал Бонапарт, пошлю тебя, полковника Бертье, исполнить военное поручение, а ты откажешься, сославшись на несоответствие этого поручения с твоими убеждениями, я пожму тебе руку, как честному человеку, и затем... прикажу расстрелять, как солдата, забывшего первый, священнейший долг – послушание!

– Да, это похоже на тебя, Бонапарт! – ответил Бертье, добродушно рассмеявшись. – Но только, по-моему, ты не совсем прав! Роялисты, которых ты расстрелял, были бунтовщика-

ми против нынешнего правительства, а поляки – свободный, независимый народ!

– Бунтовщиками! – с горькой усмешкой повторил Бонапарт, пожимая плечами. – Нет, Бертье, они не были бунтовщиками, когда с оружием в руках двинулись на республику, они стали ими, когда побежали от моей картечи! Если бы роялисты оказались сильнее меня, если бы они обратили в бегство моих солдат, тогда они стали бы героями. Но они – побеждены. Теперь герои – мы, а роялисты – бунтовщики! Говорю и повторяю вам: все принципы равны, все идеи одинаково святы, а, значит, все это – личное дело каждого, не имеющее никакого общественного значения. Что вы мне будете говорить о каких-то там переворотах! Разве каждый, кто ниспровергает закон, – непременно преступник? Баррас с товарищами отменили конституцию девяносто третьего года, распустили конвент, учредили директорию и две законодательных палаты; ведь это – полный переворот, полное ниспровержение прежнего, законного строя. Но Баррас – во всеобщем почете, он чуть ли – не отец отечества, а Робеспьер, свято чтивший закон, умер на эшафоте, как злодей и преступник!

– Но он и был кровожадным злодеем! – воскликнул Жюно.

– Нет, – задумчиво ответил Лебеф, – у Робеспьера была детски-чистая, незлобивая душа, стремившаяся к добру и правде. Просто судьба привела его к такой деятельности, к

которой он не был способен!

– Ты хорошо знал его? Ты был близок с Робеспьером? – быстро спросил Бонапарт, впиваясь в Лебефа взглядом.

– Я отошел от него в последнее время, но сначала мы были очень близки, – ответил Лебеф.

– Пойдите, господа, – остановил их Мармон. – Вот мы и отклонились далеко в сторону! Вернемся к Суворову. Видишь ли, Бонапарт, у нас зашел спор относительно личности этого полководца, и Бертье уверяет, что Суворов – кровожадный зверь, а Жюно доказывает, что у Бертье нет оснований ставить такой приговор. Вот мы и хотели, чтобы наш спор разрешил гражданин Лебеф, который бывал в России и знал Суворова.

– О, этот спор можно разрешить двумя вопросами! – ответил Бонапарт. – Скажи, гражданин, какую жизнь ведет Суворов?

– Это истинный спартаец! В пище и платье Суворов довольствуется только самым необходимым. Роскошь, излишества, ленивая нега неведомы ему.

– Да, таков и должен быть полководец! – задумчиво заметил Бонапарт. – Теперь скажи мне еще, как относятся к Суворову войско и знать?

– Войско обожает его, придворная знать – ненавидит.

– Вот вам полный ответ на ваш спор, друзья! – с торжеством воскликнул Бонапарт. – Если бы Суворов был негодяем и злодеем, знать обожала бы его, а войско ненавидело! Ты

неправ, Бертъе, ты побежден!

– До свиданья, граждане! – сказал Лебеф. – Теперь я удовлетворил ваше любопытство, и вы, конечно, позвольте мне идти своей дорогой?

– Постой, гражданин, я пойду с тобой! – торопливо кинул Бонапарт, протиснулся кивком головы с компанией и продолжал, снова обращаясь к Лебефу: – Ты зайдешь ко мне, я хочу порасспросить тебя!

Лебеф хотел ответить, что ему некогда, что его ждут, но в тоне молодого генерала слышались столько властной силы, такая твердая уверенность, что ему нет и не может быть отказа, что протест замер невысказанным, и Лебеф покорно пошел рядом с задумчивым Бонапартом.

IV

Все было бедно, скудно и убого в той маленькой комнатке, где Лебеф, следуя молчаливому приглашению Бонапарта, присел на простом табурете. Скромная постель, большой стол, заваленный книгами, чертежами и картами, маленький шкафчик со скудным запасом белья и платья – вот и вся обстановка, если не считать еще пары стульев и рабочей табуретки.

Лебеф молча сидел, ожидая вопросов. Но Бонапарт словно забыл о госте и, заложив руки за спину, взволнованно ходил из угла в угол. Вдруг он сразу, резко остановился против Лебефа и спросил:

– Знаешь ли ты что-нибудь о тактике Суворова?

– Очень мало, – ответил Гаспар. – Ведь я – невежда в военном деле. В общих чертах могу заметить то, что тебе, вероятно, известно. В России армия набирается из крепостных, которые привыкли дрожать перед палкой помещика и в строю дрожат перед палкой командира. Это обеспечивает русской армии большую компактность состава. Русские солдаты пойдут куда угодно, полезут в огонь и воду, кинутся напролом; но если неприятелю удастся обратить их в бегство, то они побегут так же стадно, как стадно шли перед тем на врага. Суворову мало было этого, он задался целью повысить сознательность каждого отдельного солдата. И путем долгой ра-

боты ему удалось добиться того, что его солдаты не только компактны, как масса, но и сознательны, как боевая единица. При нападении и защите каждый солдат знает, что ему надо делать; он действует сообща и самостоятельно. Он страшен, как лавина, стихийно несущаяся вперед, все сокрушая на своем пути, и еще страшнее тем, что эта лавина снабжена думающим, рассчитывающим, взвешивающим мозгом!

– И ведь, исходя из этого, Суворов полагается главным образом на холодное оружие, а артиллерия у него на заднем плане? – спросил Бонапарт.

– Пожалуй, что и так, гражданин генерал, – ответил Гаспар. – Недаром Суворов постоянно твердит, что «пуля – дура, штык – молодец»! Он находит, что самый лучший стрелок, самый искусный канонир могут ошибиться, промахнуться, тогда как штыковой удар в руках надлежаще обученного солдата безошибочен.

– Вот-вот! – воскликнул Бонапарт, глаза которого засверкали радостью и волнением. – У каждого великого человека имеется свой слабый пункт, и это то болезненное место Суворова, на котором я мог бы построить его разгром и свою славу! О, если бы судьба привела меня столкнуться в великом бою с этим гениальным стратегом! О, если бы хоть случай развязал мне руки, если бы я мог свободно взмахнуть крыльями, мощь которых я так отчетливо сознаю! Но я связан, задыхаюсь в тесной клетке бездеятельности! О, как ужасно вечно гореть, вечно пламенеть, чувствовать себя призван-

ным к великим делам, сознавать свою силу осуществить великие замыслы и не иметь возможности, случая доказать свою мощь! Бездарный идиот Шерер губит все французское дело в Италии; я разработал ясный документальный план военных действий, представил его Карно с мотивированной докладной запиской, из которой видно, как дважды два – четыре, что этот план не может не привести к полному торжеству, понимаешь: не может! А эта старая лошадь отвечает мне, что я представил какой-то больной бред вместо плана. Но в том-то и мое несчастье, что меня судят те, кто неспособен быть моими судьями! Как смеет Карно брать на себя решение? Он – талантливый инженер да хороший администратор, пожалуй, но он – не стратег! А я – стратег! Дайте мне случай, дайте мне возможность, и я склоню весь мир под знамена свободной Франции! Я призван к этому, для этого я рожден. О, сознавать это и сидеть, медленно сгорая в пламени неуголимого честолюбия, не видеть исхода, упираться в глухую, инертную стену. Н-нет, я долго не выдержу! Я сгорю в этом костре!

– Да, честолюбие – опасная вещь, гражданин генерал! – тихо заметил Лебеф.

– Вздор! – крикнул Бонапарт. – Если ты говоришь так, значит, ты не знаешь, что такое – истинное честолюбие! Вот ты недавно сказал, что трагедия Робеспьера была в том, что судьба отвела ему неподходящую роль. А знаешь, чего не хватило Робеспьеру? Честолюбия! Если бы у него было че-

стололюбие, разве он допустил бы, чтобы его повели, словно барана, на бойню? Ну как же! Ведь он уважал закон, он подчинился народу! Скажите, какая добродетель! Да разве закон – для всех? Закон обязателен только для рядовых людей, закон – узда для черни. А вождь сам создает законы. Но не вождь – тот, кто спутывает себя той же самой уздой, которую он взял в руки для обуздания масс! Вот в чем была ошибка Робеспьера, вот в чем была его слабость, Но он и не был призван для великих дел: у него не было честолюбия, этим сказано все! Знаешь, что такое был Робеспьер? Вот стоит дом, из которого выгнали хозяина, и стоит этот дом в разгроме и мерзости запустения. Тогда приходит лакей и метет лестницу для нового хозяина, которого он не ведаёт, часа прибытия которого он не знает. И, когда следы разгрома убраны, когда вычищена грязь и паутина, когда замечена и устлана коврами лестница, лакей уходит. Он сделал свое дело, он не нужен. Вот этим лакеем и был Робеспьер! Он очистил путь новому хозяину, его роль была кончена. Однако хозяин все не идет. Почему? А потому, что этим хозяином может стать каждый, у кого найдется достаточно честолюбия, но именно честолюбия-то нет ни у кого! Может быть, ты думаешь, что оно есть у Барраса, у Ларейвельера, у Ревбея, у Летурнера, у Карно? О, если все мерить их мелким, низменным честолюбием, то мне и желать нечего! В двадцать шесть лет я – генерал, я оказал важную услугу отечеству, мое имя у всех на устах! Сейчас нет в Париже человека популярнее генерала

Вандемьера! Но плохо знают меня те, кто думает, что я могу удовольствоваться славой ловкого полицеймейстера! Неужели Бонапарт годен лишь на то, чтобы умирять мятежный сброд? Неужели этот пронизанный пламенем мозг только и годится для того, чтобы восстанавливать порядок за тех, кто сам не в состоянии оградить свою власть? О, развяжите мне руки, освободите мои крылья, и я смело и гордо войду в дом, который уже стосковался без истинного хозяина! Я пронесу свое имя через весь мир, я кину его на расстояние сотен веков, я...

В дверь постучались. Бонапарт оборвал свою пламенную тираду на полуфразе, с каким-то недоумением осмотрелся вокруг и крикнул:

– Войдите!

Дверь открылась. Вошел Тальма.

– Здравствуй, милый мой Наполеон! – ласково сказал великий трагик. – А ты опять уже оседлал своего любимого конька и понесся на нем в заоблачные сферы? Твой голос разносится далеко вокруг. Но я к тебе на минутку. Ты просил... Вот пустячок...

Тальма сунул что-то в руку Бонапарту, но тот неловко взял протянутое, и три золотых монеты, звеня и подпрыгивая, раскатились по полу.

Бонапарт с веселым смехом подобрал их, кинул на стол и подошел к Тальма, чтобы сердечно обнять друга. Теперь молодой генерал сразу переменялся. Исчез фанатический меч-

татель, исчез пламенный, властный честолюбец; все огненное, резкое, знойное рассеялось неведомо куда, и перед Лебефом стоял теперь немного заносчивый, немного наивный, скромный офицерик, на бледном лице которого играла обаятельная улыбка.

– Да, да, гражданин Лебеф! – смеясь сказал Бонапарт, весело подбрасывая над столом золотые монеты. – Вот они, вечные контрасты жизни! Сидишь, бывало, и упиваешься гордыми мечтами, побеждаешь в грезах весь мир, утопаешь в славе, а потом очнешься от мечтаний и примешься замазывать чернилами дырки на сапогах. Да! Если бы не друг Тальма, я, наверное, умер бы с голода. Ах, я и не знаю, как и благодарить тебя, дорогой мой, за эти деньги! Мне необходимо быть на вечере у Барраса, но как я ни равнодушен к вопросам туалета, а тут уж пришлось серьезно задуматься!

– Ничего, Наполеон, жди и верь! Твое время придет, и настоящее минет, как сон! Уже теперь тебе далеко, не так плохо, как несколько месяцев тому назад. Я знаю, что в бедности много унижительного, и твердо верю, что будущее с лихвой окупит тебе все теперешние унижения!

– Унижения! – с добродушной презрительностью повторил молодой генерал. – Полно, милый Тальма, к этому я совершенно равнодушен. Я не жаловался бы и теперь; ты знаешь, каким малым довольствуюсь я для себя лично, но ребяташки!.. – Бонапарт обернулся к Лебефу, и опять обаятельная улыбка заиграла на его лице, когда он пояснил: – Ведь

у меня четыре брата и три сестры; только один брат на год старше меня, а то все малыши, неоперившиеся птенчики от девятнадцати до одиннадцати лет! Отца давно нет в живых, я один – их опора. Вот мне и больно, и обидно, что я не в состоянии в достаточной мере обеспечить их, хотя по своим знаниям, способностям и уже доказанной пользе, принесенной отечеству в ряде боев, имел бы полное право требовать этого от правительства. Моя нищета обидна, как показатель несправедливости правительства, ну, а что касается ее унижительность, то к этому я отношусь довольно равнодушно. – Взор Бонапарта сверкнул лукавой иронией, когда он весело продолжал: – Вот знаете ли вы, например, как мне пришлось быть с визитом у этой распутницы Тальен? Как же, интересный был визит! Я просто задыхался, даже не от бедности, а от настоящей нищеты. Куда я ни толкался, никто не хотел меня знать. И вот тогда я уже совсем решил уехать на службу к турецкому султану. Вдруг Фрэрон надоумил меня сходить поклониться Терезе Тальен, которая вертит Баррасом, как хочет. Ну, я и задумываться не стал! Пусть Тереза – подлейшая из распутниц, но раз она – сила, разве моя гордость пострадает от того, что я хотя бы через ее посредство добьюсь части того, на что имею право? Вот еще! Я слишком высоко ценю себя, чтобы это могло меня унижить! Ну-с, надел я вытертый, штопанный походный мундир, как можно осторожнее натянул сапоги – они легко могли развалиться, а от подошв на них вообще остался один намек, подмазал

дырки чернилами, да и отправился в салон к самой модной даме Парижа. Ну, Тереза – умная баба. Она была польщена, сделала вид, будто не замечает моего убогого вида, расспросила, обещала обратить внимание директоров на то, что молодого и способного генерала оставляют втуне, и очень тактично и ловко сунула мне записочку в интендантство, чтобы мне выдали новое обмундирование. Это было незаконно, так как я не служил в действующей армии, а обмундирование полагается только на действительной службе, но... разве закон пишется для таких, как Тереза Тальен? Я был очень доволен, собрался уже уходить, как вдруг в гостиную вваливается целая толпа мервельезок и инкруаяблев⁶. Бог Ты мой! Словно я в стаю попугаев попал! Кривляются, картавят, трещат, ломаются, лорнируют друг друга. Смотрю я на них и глазам не верю. «Да кто же из нас с ума сошел, они или я?» – думаю. Вдруг один из этих господ обратил свое просвещенное внимание на меня, шепнул что-то своей соседке, та рассмеялась, другие франты в один голос воскликнули свое обычное: «Это пхосто невехаятно»⁷, а один из идиотов на-

⁶ «Мервельезка» (по-русски значит «великолепнейшая») и «инкруаябль» («невероятный») – прозвище модниц и модников времен директории. Эти «сливки общества» одевались с преувеличенной тщательностью, жеманились, манерничали, картавили. Отчаянный разврат и показное пресыщение жизнью были для тех и других признаками хорошего тона.

⁷ Частному употреблению слова «инкруаябль» (т. е. «невероятно», слово проносилось с проглатыванием буквы «р»: «инкхуаябль») модники времен директории и обязаны своим прозвищем.

правился прямо ко мне. Подошел этот фронт, долго лорничировал мои дырки на сапогах и наконец спросил: «Послушайте генерал, это навехное – новая фохма нашей доблестной ахмии? И, конечно, – самая пахадная?» – «Нет, – ответил я, – это – боевая, походная форма, которую я носил на полях сражений, благодаря которым вы теперь можете беззаботно болтать и смеяться! Но я недавно прибыл в Париж, и потому вы простите, что я обращаюсь с вопросом и к вам тоже: скажите, пожалуйста, неужели теперь в добром, честном Париже в моде такие шуты, как вы?» Фронт растерялся, хотел что-то сказать, не нашелся и ушел, кинув неизменное «это невехаятно!» Ну, так вы, может быть, думаете, что я почувствовал себя оскорбленным, униженным? Да ничуть не бывало! Я смеялся всю дорогу домой! Однако будет обо мне и о моих бедствиях! Слушай-ка, милый Франсуа, мне говорили, что ты опять имел безумный успех в «Нероне»?

– Да... аплодировали, – равнодушно кинул Тальма.

– Как ты это говоришь! – воскликнул смеясь Бонапарт. – Можно подумать, что ты равнодушен к своей славе!

– Э, что такое моя слава! – хмуро ответил трагик, отмахиваясь. – Умри я сейчас, так через год имя Тальма будет звучать чем-то диким и неизвестным. Нашей актерской славе – грош цена! Мы хороши, пока молоды, пока в цвете лет, а случись что-нибудь... ну, так и умирай, словно старая собака под забором! Существуют такие насекомые – эфемериды. Эфемерида рождается летним вечером, вылета-

ет, соединяется с другими новорожденными, исполняет ввну-
шенный ей природой великий акт любви и тут же умирает.
Вся жизнь этого красивого существа продолжается два часа.
Блеснет эфемерида радужными переливами крыльев и хо-
лодным трупом падает в реку. Вот и мы, актеры, – такие же
эфемериды! Наше искусство не увековечивается, оно уми-
рает в тот же момент, когда появляется. Наша слава не пере-
живает нас; хорошо еще, когда мы умираем одновременно с
нею. Но пережить свою славу, жить бледным призраком сре-
ди чужих людей, сгорать на костре ярких воспоминаний...
о-о-о! – Тальма со стоном схватился за волосы.

– Франсуа, милый мой Франсуа! – дрогнувшим голосом
произнес Бонапарт, подбежав к другу и положив ему руку на
плечо. – Что случилось с тобой? В чем дело?

Тальма поднял голову, улыбнулся бледной, измученной
улыбкой и ответил:

– Со мной лично ровно ничего не случилось, я просто рас-
хандрился. Сейчас я все объясню. Скажи, знаешь ли ты, кто
такая – Аделаида Гюс?

– Не знаю! – ответил Бонапарт. – Никогда не слышал!

– Вот видишь! А между тем еще совсем недавно имя Аде-
лайды Гюс звучало куда более гордо и сильно, чем скромное
имя «Тальма»! Вот она, наша актерская слава! Гюс была мо-
лода и прекрасна. У ее ног лежали короли, князья крови и
капитала, а она, небрежно играя человеческими сердцами,
шла все дальше с загадочной улыбкой. По всей Европе гром-

ким эхо прокатилось ее имя. Гюс срывала аплодисменты и в Петербурге, и в Стокгольме, и еще Бог весть в каких далеких городах. Когда она приезжала в чужую страну, раздавался вопль негодования: «Развратная Гюс»...

– Прости, гражданин Тальма, – перебил трагика Лебеф, – на всякий случай считаю долгом предупредить, что Аделаида Гюс – самое близкое мне лицо! То есть, конечно... – поспешил он поправиться, заметив выражение недоумения на лице Тальма, – я употребляю это выражение в самом чистом смысле. Когда Гюс была еще подростком, я дал обет бескорыстно служить ей, и так как она до сих пор не освободила меня от этого обета, то я до сих пор состою ее секретарем. Вместе с нею, в качестве платонического друга, я совершил все те путешествия, о которых ты упомянул. Я счел долгом предупредить тебя, так как... не зная этого...

– Нет, но каков этот Лебеф! – воскликнул Бонапарт. – Да он, кажется, был в близком общении с целой кучей великих людей!

– Я не собирался говорить о Гюс ничего такого, что не мог бы сказать теперь, после твоего предупреждения, гражданин! – с ласковой улыбкой ответил Тальма. – Но ты только посмотри, Наполеон, как велико было обаяние этой женщины, если из-за нее человек был способен пожертвовать всей своей жизнью, ничего не имея за это взамен! Так вот, продолжаю. Появлению Гюс предшествовали вопли негодования, но стоило Аделаиде Гюс выйти на сцену, как вся ее част-

ная жизнь забывалась и зрители замирали, словно завороченные! Перед ними уже не было «развратной», «хищной» женщины, а являлась воплощенная героиня той пьесы, которая разыгрывалась! И не забудь, что Гюс расцвела в ту эпоху, когда условность, рутинерство были особенно сильны в театре. Каким-то непостижимым артистическим чутьем Гюс ухитрилась во многом сбросить ярмо рутинерства, отделаться от напыщенности, от излишнего декламаторства! Помню, я видел ее еще мальчиком в «Заире». Сколько бессонных ночей провел я тогда в грезах об этой дивной женщине! Сколько лет я слышал интонации ее поразительно гибкого, редко певучего голоса! И вот...

Тальма замолчал, закрыл глаза рукой, и видно было, как подергивались его губы. Молчали и его собеседники. Несколько успокоившись, великий артист продолжал:

– Я сидел сегодня у нашего директора; вдруг лакей доложил о просительнице. Имя этой просительницы было... Аделаида Гюс! Можешь представить себе, с каким лихорадочным волнением ждал я ее появления! Я забыл, что с того времени прошло около двадцати пяти лет. Я считался с возможностью ее постарения, но от меня как-то ускользало трагическое сознание, как именно она должна была постареть. И вот вошла бедно одетая, старая женщина. У нее были старчески отвислые рот и подбородок; прекрасная фигура расплылась в уродливые обвислости, глаза померкли и окутались сетью морщин. А когда она робким, несколько хриплым, потеряв-

шим свою прежнюю гибкость голосом стала просить хоть какого-нибудь места, я должен был отвернуться, чтобы не рыдаться. И это – Аделаида Гюс?! Ну то, что она постарела, это еще ничего, да и, наверное, у нее не такой уж ужасный вид, мне это показалось в силу контраста с юношеской грезой. Но эта мольба о месте! Аделаида Гюс должна умолять, чтобы ее приняли на службу! Аделаида Гюс! Ну так кто же может поручиться, что когда-нибудь и Франсуа Жозеф Тальма не явится в заплатанном, вытертом, полинялом камзоле просить, чтобы его из милости приняли на маленькие роли! Да что же после этого стоит наша слава? Грош ей цена! Подниматься все выше, достигать больших высот и сознавать, что, чем выше поднимаешься, тем страшнее неизбежное падение, чем большего достигнешь, тем крупнее неизбежные потери. Нет, друг мой, от одной мысли можно прострелить себе череп!

Тальма снова схватился за голову и замер в мучительной задумчивости. Наступило тяжелое молчание. И Лебеф, и Наполеон понимали состояние души великого трагика, не находя, однако, ни слова ободрения или утешения.

Наконец Лебеф прервал тягостную паузу, сказав:

– Однако мне пора! Адель, наверное, ждет, не дожждется меня! Но скажи, гражданин Тальма, удалось ли Гюс добиться, чего-нибудь?

– Не знаю, – ответил трагик. – Я не мог выдержать и ушел до конца разговора. Но если директор и не дал ей оконча-

тельного ответа, можешь успокоить Гюс от моего имени: она будет принята, я ручаюсь за это!

– До свиданья, гражданин Лебеф! – приветливо сказал на прощанье Бонапарт. – Очень прошу тебя, заходи ко мне в свободную минутку! Ты много видел, много испытал, мне будет очень интересно поговорить с тобой!

Обещав зайти как-нибудь, Лебеф ушел.

V

У Адели Гаспар застал Луизу Компуен, вертлявую, довольно хорошенькую девицу, горничную, компаньонку, подругу и наперсницу известной, хотя и не чрезмерно молодой «мервельзки», Жозефины Ташер де ла Пажери Богарнэ, вдовы виконта де Богарнэ, одного из честнейших и убежденнейших генералов республики, казненного Робеспьером совершенно без всякого основания. Да и саму Жозефину только падение Робеспьера спасло от эшафота: вместе с Терезой Кабарюс (Тальен) Жозефина сидела в тюрьме, с минуты на минуту ожидая попасть в ближайшую «фурнэ».

Аделаида Гюс жила недалеко от улицы Шантрейн, где помещался дом вдовы Тальма, дальней родственницы знаменитого трагика. В этом доме жила Жозефина. Адель сблизилась с Луизой, а через нее и с Жозефиной, и когда никого из посторонних не было, вдова Богарнэ охотно посылала за Аделью, с наслаждением слушая воспоминания Гюс о своих похождениях и положительно захлебываясь в тех местах, где эти воспоминания принимали рискованный характер. Ведь Жозефина могла особенно хорошо посмаковать пикантные приключения, имея и сама богатый опыт!

Луиза Компуен была неизмеримо чище, добрее и честнее своей госпожи и подруги. Но и ее тоже влекло к Адели, к рассказам о пестрой жизни актрисы. Луизу интересовали в этих

рассказах преимущественно жизнь чужих народов, придворный быт, подвиги, а все нездоровое, чувственное отскакивало от нее, не задевая ее воображения. Вот почему Луиза охотно забегала к Адели, когда к этому представлялась возможность. И Адель дорожила расположением девушки. Ведь ей нередко перепадало что-нибудь от щедрот Жозефины, а в распределении этих «щедрот» – старого платья, обуви и т. п. главную роль играла именно Луиза. Действительно, ее близость к Жозефине была такова, что она с полным правом говорила: «Мы заказали еще два новых платья» или «Мы очень выгодно приобрели турецкую шаль». Ведь Луиза делила с Жозефиной все бесконечное количество платьев, которое нашивала себе кокетливая вдова, и даже то немногое белье, которое у нее было.

Пусть не удивляет никого это сопоставление. У Жозефины действительно шкафы ломились от платья, а белья вечно не доставало. Но это отнюдь не беспокоило чувственную креолку. Поверхностная, легкомысленная, она не была способна заботиться о действительной сущности вещей, ей нужна была одна видимость. «Быт» не играл для нее роли; все дело было в том, чтобы «казаться». Она принадлежала к числу тех женщин, которые употребляют мало воды и много духов, мало мыла и много пудры и косметики!

Итак, Гаспар застал у Адели Луизу Компуен.

Обыкновенно Адель с удовольствием слушала веселую трескотню болтливой девушки, но теперь ей просто стано-

вилось неумогу. Так хотелось поделиться с кем-нибудь яркой радостью, так хотелось излить свой восторг, ликование. Но Луиза была слишком молода, слишком далека от таких переживаний, чтобы понять их. Когда Адель рассказала ей о своем успехе, Луиза только пожала плечами и ответила:

– Господи! Вот тоже радость, подумаешь! Да на твое жалованье путного платья не сошьешь! Почему ты раньше не сказала, что тебе так хочется вернуться на сцену? Жозефина замолвила бы словечко Баррасу, и все было бы устроено! – и кинув эту равнодушную фразу, Луиза опять принялась болтать про туалеты и победы своей госпожи-подруги.

Увидев входящего Гаспара, Адель вскочила и раздраженно крикнула:

– Ну как тебе не стыдно, братишка! Шатаешься, черт знает где, как раз в такой важный момент! А мне так хотелось поделиться своей радостью! Ведь я принята, Гаспар!

– Я знаю об этом, Адель, – ответил Лебеф. – Я видел Тальма, и он...

– Ты видел Тальма? – крикнула Адель. – Что же он сказал обо мне? Какое впечатление я произвела на него?

– Но, Адель... мы говорили очень мало! – смущенно ответил Лебеф, который не решался передать своей тиранке подлинные выражения знаменитого актера. – Тальма говорил больше о шаткости актерской славы, о...

– Ах, что это за человек, что за человек! – восторженно перебила его Адель, и ее потускневшие, но все еще красивые

глаза вспыхнули юной страстью. – Его нельзя назвать красавцем, но в нем есть что-то такое, что выше, ценнее, привлекательнее красоты! Сколько благородства, страсти, богатства чувств читается в лице, взоре, осанке – во всем! А какой голос! Боже мой, какой голос! Да, сама природа создала его для сцены, но она не позабыла вложить ему благородное, широкое сердце! Слава, поклонение, постоянный успех – ничто не могло убить в нем широкие движения души!

– Ну, Адель, – с легкой гримаской вставила Луиза, – ты, как всегда, увлекаешься! Конечно, не буду спорить, Тальма – недурной актер.

– Недурной актер! – воскликнула Адель, однако от негодования не могла возразить что-либо.

– Но о его широте смешно даже говорить! – невозмутимо продолжала Луиза. – Ведь я его хорошо знаю! Одно время он ухаживал за Жозефиной, но не прошло и месяца, как барыня дала ему чистую отставку. Тальма горд, узок и недостаточно воспитан, недостаточно деликатен. Если бы не его известность и не жена⁸, которая с одной стороны страшно раздувает своего муженька, а с другой – шлифует его, Тальма просто не стали бы принимать. Но, разумеется, так думаем мы с Жозефиной, ты же можешь думать иначе; если бы все

⁸ Тальма был женат два раза. Первая его жена, Жюли Каро, была аристократического происхождения, тонко ценила искусства, увлекалась литературой и философией. В салоне Жюли Тальма встречались все литературные и политические знаменитости того времени. Впоследствии Тальма развелся с Жюли и женился на актрисе Вангов.

думали одинаково, было бы скучно жить на свете. Поэтому не будем спорить. Но вот что скажите мне, месье Лебеф: где это вы увиделись с Тальма? Ведь насколько я поняла, вы с ним прежде не были знакомы?

– Мне удалось случайно познакомиться с очень интересным молодым генералом, а к нему зашел Тальма. Этот генерал – тоже не последняя знаменитость в наши дни. Конечно, вы знаете, чем обязана директория Бонапарту?

– «Генералу Вандемьер»? – с живейшим любопытством воскликнула Луиза. – И вы были у него? Говорили с ним? Милый месье! Вы – такой опытный, умный, вы столько видели и знаете! Скажите, пожалуйста, какого мнения вы о Бонапарте?

– А почему вас это интересует, милое дитя? – спросил улыбаясь Гаспар.

– Но... вообще... – Луиза замялась, затем сверкнула лукавым взором и продолжала: – Впрочем, ведь вы – друзья, вы не станете болтать. Видите ли, ведь Жозефина – вдова, она устала от рассеянной жизни, от вечных приключений, мимолетных интриг. Ей уже... двадцать семь лет! – чуть-чуть запнувшись, заявила Луиза, в качестве верной подруги и субретки уменьшая возраст своей госпожи на пять лет. – Ну надо же ей остановить на ком-нибудь, пристроиться.

– Но ведь ты говорила, что теперь у нее этот... поэт...

– Ренэ Карьо? – взор Луизы омрачился, брови сдвинулись, и в тоне ее голоса слышались отзвуки затаенных стра-

даний, когда она продолжала, тщетно стараясь сохранить внешнее равнодушие: – Да разве бедный, смешной мальчик – пара Жозефине? Ведь она ему чуть не в матери годится. И не любит она его, нет! Ее забавляет, что Ренэ ласков как шаловливый котенок, ее увлекают его юный пыл, молодая страсть, это – эпизод, приключение, шаловливая страничка жизни Жозефины, но не серьезная привязанность, не желанная пристань.

– А эту привязанность, эту «тихую пристань» Жозефина надеется найти в Бонапарте? – спросила Адель.

– Нет, Жозефина пока еще не связывает никаких надежд с генералом. Она видела Бонапарта у госпожи Тальен, и он ей не понравился как мужчина. Но Баррас уверяет, что перед Бонапартом открыто блестящее будущее. Ну, знаете ли, в известном возрасте к любви и влечению относишься несколько иначе, чем в годы первой молодости! В мимолетной интрижке руководишься одним, а в браке – совсем другим. Жозефина знает, что в браке любовь часто превращается в ненависть, а равнодушие – в пылкую страсть. Кроме того, генерал Бонапарт сейчас в моде, дамы, за ним отчаянно бегают, а ведь у красивой женщины, как Жозефина, чувство соперничества с лихвой возмещает недостаток влечения. Нет, в данном случае все дело только в том, действительно ли у генерала Бонапарта открыта дорога к блестящему будущему? Вот мне и хотелось бы в настоящую минуту знать мнение такого опытного человека, как вы, месье Лебеф!

– Видите ли, дитя мое, – ответил, подумав, Гаспар, – мы живем в такое странное, причудливое время, когда пророчествовать особенно трудно. Внимательно наблюдая за событиями недавнего прошлого, я был уверен, что падение Робеспьера поведет к блестящему взлету Фушэ. Между тем наверху оказался Баррас, для возвышения которого не было ни малейших данных, а Фушэ, несмотря на свой поразительный талант к интриге, так и остался в низах. Вот почему трудно сказать что-либо о будущем генерала Бонапарта. У «генерала Вандемьера» – богатая, пламенная натура. На его челе ясно сверкает печать гения. Но... дадут ли ему возможность проявить свой талант? Разве не оставляли его столько времени в пренебрежении? Да и теперь – разве не держат его в Париже, вдали от театра войны, тогда как вся душа молодого воина рвется к деяниям? О, если Бонапарту дадут возможность проявить себя, он достигнет громадной высоты, надевает чудес, я уверен в этом! Но кто может поручиться, что ему предоставят эту возможность?

– Значит, вы тоже разделяете мнение, что Бонапарт очень большой человек? – спросила Луиза. Она хотела добавить что-то, но тут ее взгляд упал на часы, и она торопливо вскочила, испуганно воскликнув: – Ай-ай-ай, как я заболталась! Жозефина может приехать с минуты на минуту! До свиданья!

Луиза поспешно вышла из комнаты.

– Слава Богу, что эта трещотка наконец ушла! – сказала

Адель, оставшись одна с Гаспаром. – Ах, братишка, братишка! Я готова смеяться и плакать! Что за человек! Какая величественная простота, сколько обаяния!

Адель закрыла лицо руками и погрузилась в тревожную задумчивость. С молчаливой тревогой смотрел на нее Гаспар. Старик понял, кто был тот «он», о котором так восторженно говорила Адель, и в его сердце закрадывались глубокая скорбь, болезненное предчувствие большого трагического горя, тяжелого и неблагодарного.

Ах, что может быть неблагодарнее трагедии увядшей телом, но не страстями женщины!

VI

Конец 1795 года не был благоприятным для французского оружия. Генерал Пишегрю, командовавший мозельской и рейнскими армиями, тайно вступил в преступный сговор с главой зарубежных роялистов, принцем Кондэ, и делал все, чтобы погубить отечественную армию. Гнусная измена этого Иуды еще не была известна правительству. Пишегрю просто отставили за неспособность, но в добровольном поражении у Гейдельберга Пишегрю все же успел уложить свыше двадцати тысяч французов. Вдобавок к этому и в итальянской армии дела шли неважно: Шерер терпел поражения, не продвигаясь вперед. Обеспокоенные директора переслали ему план кампании, выработанный Бонапартом, но Шерер ответил резкой отповедью, что такой идиотский план может выполнить лишь тот идиот, который его создал. Конечно, Шерер даже не предполагал возможности, что этот «идиот» в недалеком будущем будет призван осуществить на деле свой план и докажет фактически свою правоту. Храбрый, но не очень талантливый, Бартоломей Шерер был уверен, что его нечем заменить и что никто во всей Франции не сможет преуспеть там, где он, Шерер, терпит неудачу. Того же мнения держалась и директория.

Уныние стало овладевать душой директоров. К тому же роялисты, притихшие после разгрома 5 октября (13 ванде-

мьера), теперь снова стали поднимать голову. Перед директорами вставал бледный призрак нового переворота, который мог стоять им не только власти, но и головы. Необходим был ряд блестящих побед, чтобы директория восстановила в широких массах свой престиж, начинавший тускнеть. Но кто мог обеспечить Франции эти победы?

В военный талант генерала Бонапарта верил один только Баррас, да и то не до такой степени, чтобы вдруг вручить молодому офицеру воинскую честь всей Франции. Правда, по временам, когда Бонапарт в частной беседе излагал свои взгляды Баррасу, тот увлекался могучей индивидуальностью корсиканца, начинал предчувствовать, что это – человек, самой судьбой предназначенный для великих, сверхчеловеческих деяний, что Наполеон задыхается в узости отведенной ему деятельности, как крупная рыба в мелкой воде. Иногда у Барраса вдруг мелькала мысль: «А что если рискнуть, если поручить молодому генералу осуществление созданного им плана итальянской кампании?» Однако осторожные намеки, высказываемые им в этом направлении, не встречали отклика и сочувствия у других директоров, а Карно вставал на дыбы при одном упоминании имени Бонапарта, не прощая корсиканцу его молодости. Конечно, Баррас сумел бы настоять на своем желании и заставить директорию поручить Бонапарту командование итальянской армией, но он сам не был убежден в спасительности такого шага и не хотел брать на себя одного ответственность за такой риск. Поэтому ему

приходилось с отчаянием предоставлять событиям идти своим ходом.

Однако парижане отнюдь не разделяли угнетенного настроения директоров. Наоборот, трудно было поверить в тяжелое положение страны при взгляде на широкий размах парижской жизни. Театры, рестораны, шикарные балы и народные «танцульки» – все было переполнено посетителями. Казалось, возвращались времена царствования Людовика «Возлюбленного» XV. Народ и честные труженики снова опускались на социальное дно, наверх всплывали беспринципные прожигатели жизни. Объектами поклонения, законодателями общественных настроений были уже не Дантоны и Мараты, а изломанные «инкруаябли», глубоко равнодушные к политическим вопросам, если только не открыто склоняющиеся к роялизму. Не будь армии и военных, в Париже некому было бы с прежним искренним пафосом провозглашать еще недавно святой, ныне потерявший сочность торжественного звука лозунг – «свобода»!

Парижане устали от сурового ригоризма первых республиканцев, не хотели даже вспоминать о тех страшных эксцессах, которыми сопровождалась неизбежная ломка старого строя. Выступи сейчас открыто роялисты – и парижане не оказали бы им сопротивления. Что же сдерживало роялистов от использования благоприятного момента? Только опасения перед решительностью директории в подавлении восстания. Но, заметь они колебания и смущение директо-

ров, они снова подняли бы знамя мятежа.

В откладывании обещанного торжества уже начали усматривать признаки упадка духа властей. Все громче передавался слух, что директория считает неуместным устраивать пиры в дни траура. Этим толкам надо было положить конец, и в середине декабря ярко освещенные залы Люксембургского дворца, где помещался Баррас, были готовы к встрече многочисленной толпы гостей. И за приготовлениями к отъезду на вечер в честь «генерала Вандемьера» мы и застаем Жозефину Богарнэ.

Одетая, причесанная и искусно подмазанная креолка вертелась в гостиной перед громадным трюмо, тогда как Луиза Компуен, стоя на коленях, оправляла кое-где складки ее платья. Наконец Жозефина как будто осталась довольна. Она закинула на руку шлейф, обнажив крошечную золотую туфельку и ажурный чулок со стрелками на хорошенькой ножке, сделала несколько размеренных па, присела перед зеркалами и сама улыбнулась своему отражению, найдя себя особенно авантажной в этот вечер. Затем она обернулась к тому углу, где в одном из кресел, таких же претенциозных, бьющих на показную, внутренне убогую роскошь, как и вся обстановка Богарнэ, как и она сама, сидел задумчивый, бледный Ренэ Карьо. У юноши было очень интересное лицо, носившее на себе явный отпечаток талантливости натуры, и только взгляд, слишком беспокойный, сухой, напряженный, портил общее впечатление.

Дождавшись, пока Луиза выйдет из комнаты, Жозефина взялась кончиками пальцев за юбку, грациозно приподняла ее, присела в изящном пируэте и спросила с кокетливой улыбкой:

– Ну-с, как вы находите меня, месье?

Вместо ответа Ренэ, словно подтолкнутый невидимой пружиной, вскочил с кресла и, расставив объятия, сделал шаг к Жозефине. Однако та сейчас же испуганно крикнула:

– На месте сидеть, дурачок! Да ты совсем с ума сошел, право! Неужели я для того возилась добрых три часа с туалетом и прической, чтобы ты смял мне все это в одно мгновенье?

– Ну, конечно, – хмуро отозвался юноша, – ведь я – только Ренэ Карьо! Если бы меня звали Мирифлер, Баррас, Лариво...

– Да ты, кажется, ревнуешь? – воскликнула Жозефина смеясь, но сейчас же ее лицо приняло серьезный вид. – Вот что, милый мой: у меня есть минутки две свободных, и мне надо с тобою поговорить. Скажи, пожалуйста, на каком основании ты предъявляешь ко мне какие-то требования? Неужели ты считаешь наши отношения такими серьезными, такими незыблемыми, чтобы мы могли говорить о каких-то правах друг на друга? Если это так, то ты впадаешь в глубокую ошибку и готовишь себе страшное разочарование! Простой каприз, чисто шаловливое влечение кинуло нас в объятия друг друга, и... не находишь ли ты, что для простого каприза

наши отношения затянулись слишком долго?

– Ты меня гонишь? – испуганно крикнул юноша.

– Да нет же, дурачок, я и не думаю гнать тебя, – мягко ответила креолка, – а просто взываю к твоему разуму. Разве мы смеем связывать себя какими-либо цепями? Ты – мальчик, перед тобою вся жизнь, ты должен думать о том, как обеспечить свое существование и облегчить борьбу. А я... ну, а я, друг мой, я – женщина, которая уже предвидит близкое увяданье, неизбежную старость; мне надо думать о том, как бы не упустить последних лет обаяния... Мне нужен муж, этим все сказано! Муж – это рента на склоне лет, любовник же сам пользуется процентами с молодости. Но куда девается вся шумная стая поклонников, когда женщина теряет свою привлекательность? Мне нужен муж, друг мой, вот о чем ты должен подумать на досуге, чтобы подготовиться ко всему! Прощай, я тороплюсь! – и Жозефина направилась к дверям.

На пороге она остановилась, обернулась и с тревогой и нежностью посмотрела на Ренэ, который снова упал в кресло, закрыв лицо руками. Лицо креолки отразило колебание, борьбу...

– Нет! – прошептала она наконец, – я не могу, не смею показать ему, как он мне дорог! Мне нужен муж, этим сказано все! – и, словно убегая от соблазна, Жозефина поспешно скрылась.

Некоторое время Ренэ просидел в безмолвном отчаянии.

– Вы так любите ее? – послышался вдруг около его уха

чей-то робкий голос.

Ренэ поднял голову: опираясь на ручку его кресла, стояла Луиза Компуен. Девушка была бледна и грустна, взор ее со скорбным восхищением был устремлен на поэта.

Несколько секунд Ренэ молча всматривался в лицо Луизы, которое красноречиво говорило ему о затаенной любви. Вдруг щеки юноши порозовели, в глазах сверкнула жизнь, и неожиданно для Луизы Ренэ протянул руку, крепко охватил гибкий стан девушки и зашептал, привлекая ее к себе:

– Я люблю только свою славу да тебя, Луиза! Что мне эта холодная, увядающая кокетка? Вот ты...

– Пустите меня! – крикнула Луиза вырываясь. – Как вы смеете говорить мне это, когда на ваших губах еще не остыли поцелуи другой? Я ненавижу вас, пустите!

– Тише! – все тем же серьезным, страстным шепотом остановил ее Ренэ. – К чему ты делаешь вид, будто хочешь вырваться от меня? Вот я почти и не держу тебя, а ты бессильна разорвать цепи моих объятий! Прикосновение ко мне лишает тебя воли, силы, разума, а ты еще хочешь казаться гордой и негодующей! А что, если бы я оказался так наивен и поверил твоему возмущению? Что, если бы я выпустил тебя, извинился и ушел? Что, если бы для нас пропала лучшая минута жизни, та минута, когда любящие сердца впервые открывают друг друга? Ну скажи теперь сама, неразумная ты девушка, простила ли бы ты мне, если бы я не воспользовался теперь возможностью объясниться с тобою и равнодушно

прошел мимо счастья?

Дрожь, пробежавшая по телу Луизы, была ответом Ренэ. Тогда юноша продолжал, еще сильнее сжимая стан девушки, еще ближе притягивая ее к себе:

– Ты говоришь, на моих губах не остыли поцелуи другой. Ну так что же? Разве ты хотела бы, чтобы в ожидании неведомой истинно любимой я отказался от всех радостей жизни? Да, если бы я встретил тебя раньше Жозефины, я не смог бы приблизиться к ней, но ведь это было бы несчастьем, Луиза! Подумай сама, что такое – ты и что такое – я! Ты – полугорничая, девушка без средств и связей, я – поэт, талант которого никто не станет признавать до тех пор, пока мое имя не будет на устах у парижских модниц и модников. Сначала слава, хотя бы дешевая, хотя бы дутая, а потом уже приходят признание, почет и деньги. Жозефина для меня – та ступень, по которой я должен подняться к славе... Ты снова делаешь гневное движение? Опять готова негодовать? Ты находишь, что это безнравственно? Полно, милая девушка! Бывают положения, когда и нравственность, и безнравственность остаются где-то далеко внизу, далеко в стороне. Ах, нет ничего безнравственнее нищеты, потому что нет того зла, которое не рождалось бы из бедности! А я-то знаю ее, эту бедность! Вот... я сейчас все объясню тебе.

– Я родился и вырос в страшной нищете. Мой отец женился молодым на бедной девушке; говорят, из него вышел бы талантливый музыкант, но необходимость с молодых лет

заботиться о семье не давала ему возможности работать над самоусовершенствованием, и отцу пришлось ограничиться скромной ролью скрипача в оркестре публичного бала. Тоска, забота, работа ночами в душной атмосфере зала подточили его здоровье. Он умер, оставив мать с тремя детьми, из которых я был самым младшим.

Начались дни такой нищеты, перед которой прежняя бедность казалась роскошью. Мать ничего не умела, ничего не знала. Она просиживала дни и ночи над тканьем ковров и вязанием кружев. Но ее руки и глаза не были приучены к этому с детства, она вырабатывала очень мало; к тому же наступили бурные времена, когда честный труд обесценился до последней степени. Наконец иссякла и эта скудная работа. Одна за другой уходили вещи из нашей домашней обстановки, одно за другим относились к старьевщику платья. Наступила зима. Ради охапки дров и мерки картофеля пришлось продать кровать. Мы спали на голом полу, укутываясь в жалкие тряпки. Чтобы добыть что-нибудь для еды, мы со старшим братом, ему было двенадцать лет, мне – десять, рылись в помойках, отбивая у собак куски мяса, не успевшие окончательно разложиться.

Мать напрасно бегала по разным местам, выискивая хоть какую-нибудь работу, нигде не хотели иметь дело с такой оборванной нищей. Когда же она обратилась к благотворителям, те заявили, что мать слишком молода для подаяний и может работать. А священники, к которым мать обрати-

лась за помощью во имя Христа, требовали доказательств, что мать исполняет все христианские обязанности, без чего они отказывались помочь. Словом, помощи неоткуда было ждать.

Наконец наступила развязка. Я помню этот страшный день в конце декабря. Уже близились рождественские праздники, на улицах царило страшное оживление, магазины были переполнены покупателями, на рынках высились громады мясных туш и целые горы птицы, а мы сидели в своей конуре, щелкая зубами, словно волки. Это был решительный день. В последнее время мать все шепталась с Леони, которой было уже пятнадцать лет. О чем у них шла речь, я не знал тогда; я видел только, что мать о чем-то умоляла сестру, просила ее подождать и потерпеть еще немного, а сестра отвечала, что это будет бесполезно. Накануне матери сказали, что виконтесса де Ганото не отказала еще ни одному бедняку, обратившемуся к ней с просьбой. В этот день мать должна была сходить к виконтессе, и Леони заявила, что это – последняя отсрочка. Мать ушла, брат Жак тоже отправился побегать по улицам, дома остались только я и Леони. Бледная, задумчивая, необыкновенно красивая, несмотря на рубище и изможденность, сидела сестра у окна, не проронив ни слова все те два часа, которые мать отсутствовала. Наконец мама пришла. Еле ворочая языком, она сказала: «Сегодня ночью виконтесса умерла». Леони встала, подошла к матери со словами: «Ты видишь сама, что больше ничего не оста-

ся!», – поцеловала ее в лоб и вышла из комнаты. Больше я никогда не видел ее. Уже впоследствии я узнал, что Леони стала одной из жриц разврата.

Словно подкошенная, рухнула мать на подоконник. Я смотрел на нее из своего угла, сознавал, что она страдает, но всякое сочувствие к ней заслонялось чувством адского, сверхчеловеческого голода. Вдруг дверь распахнулась, и вбежал сияющий, радостный Жак. «Мама! – крикнул он, высоко поднимая золотую монету над головой, – смотри, целый луи!» – «Двадцать франков! – воскликнула мать в ответ. – Жак! Откуда ты взял деньги?» Жак самодовольно рассмеялся и ответил: «Вот тоже хитрость! Надо быть круглым идиотом, чтобы не выудить чего-либо в этой сутолоке! Торговки на рынке совсем с ума сошли, их рвут на части, и, если бы я не торопился так домой, я мог бы добыть несколько таких желтушек. Впрочем, и то сказать, нас там много». «Нас? – дико крикнула мать в ответ. – Жак! Ты ук... – она не договорила, схватилась за голову, потом продолжала каким-то странным, мертвым голосом: – Хорошо, спасибо, мой мальчик! Дай сюда деньги, я схожу куплю обед! У нас будет пир сегодня, мальчики!»

Мать пришла, нагруженная пакетами. Тут были всякие вкусные вещи, которые до сих пор мы видели лишь в витринах магазинов, были несколько бутылок вина и жаровня с углями. Словно в бреду, мы накинулись на еду и питье. Мы рвали руками ветчину, впивались пальцами в паштеты, вы-

рывали друг у друга из рук бутылку, чтобы освежить пересохшее горло. Только мать ела и пила очень мало. И все время, когда она глядела на нас, с ее лица не сходила какая-то странная, бледная, жуткая улыбка.

Не столько от вина, сколь от непривычной сытости мы с братом быстро охмелели. Мать уложила нас в угол, прикрыла тряпками, и мы сразу заснули. Но вскоре я проснулся от какого-то непонятного ощущения тоски и страха. У меня слегка кружилась голова, сердце билось порывисто и нервно. С трудом подняв отяжелевшие веки, я увидел, что мать изо всех сил раздувает жаровню с горящими углями, над которыми плясали голубые огоньки. «Вот хорошо! – пробормотал я в полусне. – Теперь будет тепло!» – и снова забылся»

Проснулся я под влиянием тяжелого сна. Квартирный хозяин пришел требовать денег и, не получив их от нас, стал душить меня. Я проснулся в состоянии полной расслабленности. Голову ломило, сердце билось до ужаса сильно, воздуха не хватало, словно меня и в самом деле кто-то душил. Голубые огоньки все еще танцевали над жаровней. На полу около жаровни в странной позе лежала мать. Меня охватил страх. Сознание было совершенно подавлено, но инстинкт подсказал, что надо бежать вон из этой комнаты. Медленно, с трудом принялся я ползти по полу. У меня хватило сил доползти до самой двери, но встать и открыть ее я не мог. И я лишился сознания у порога...

– Бедный, голубчик мой! – простонала Луиза.

– Утром, – продолжал Ренэ Карьо, – запах гари выдал соседям тайну происшедшего в нашей лачуге. Дверь в нашу комнату сломали и нашли там два трупа и один полутруп. Меня спасло то, что я лежал у порога, где из-под двери до меня все же доносилась струя чистого воздуха. Один из соседей, старый холостой столяр, взял меня к себе. Началась моя сиротская жизнь. Меня мало кормили и много били, но все же эта жизнь была райской в сравнении с прошлым.

Нужно ли останавливаться на подробностях моей дальнейшей жизни? Скажу одно, я напряг все усилия, чтобы выбиться. Я не спал, откладывал каждую копейку, которая случайно доставалась мне, но учился, учился и учился. Мне удалось поступить в лицей и окончить там курс. Во мне очень рано проявилась склонность к версификации, а ко времени окончания лицея я был уже зрелым поэтом, ученики и учителя в один голос пророчили мне блестящую будущность, но... наступил страшный восемьдесят девятый год, и кому нужно было тогда лирическое щебетанье? Но я верил и верю в свое призвание, я не поддался соблазну взять какое-нибудь маленькое местечко, обзавестись семьей и жить в вечной борьбе за кусок хлеба, плодя нищих. У меня красивый почерк, я живу перепиской. Если бы я хотел, я был бы завален работой, но я беру работы ровно на такую сумму, чтобы можно было не умереть с голоду и прилично одеться. Все время – вот уже шесть лет! – я упорно работаю над своим поэтическим талантом. Я сижу месяцами над самым пустяш-

ным стихотворением, отбрасывая все банальное, сглаживая малейшую шероховатость, выискивая новые формы и выражения. И теперь я могу смело сказать: я – законченный поэт! Мало кто может сравниться со мною в звучности, силе и красоте стиха, и если бы я издал книжку своих произведений, если бы на нее обратили внимание, мое имя сразу было бы известно.

Но положительных заслуг мало, надо иметь связи, надо уметь заставить заговорить о себе вне таланта, и только тогда заговорят о таланте. О, я знаю, если подождать еще десять, может быть, двадцать лет, слава все равно придет. Только, видишь ли, милая моя девушка, я... не могу больше ждать! Ни двадцати, ни десяти, ни даже трех лет я не выдержу. Я чувствую, что такая жизнь сжигает меня. На что мне слава, если я стану калеккой? Нет, она должна прийти ко мне сейчас, или я уйду из жизни совсем!

Луиза вздрогнула и инстинктивно схватила Ренэ за руки.

Благодарно пожав их, поэт продолжал:

– Два года тому назад я задумал написать одноактную пьесу в стихах под названием «Елизавета Тюдор». Я выбрал ту эпоху жизни королевы, когда молодость и привлекательность уже отлетели от нее и она с горечью сознает, что теперь могут любить лишь ее сан, ее власть, но не ее самое как женщину. И в самый разгар этих горьких дум Елизавета встречает юного графа Честера, сразу воспламеняется поздней любовью к нему, дает Честеру понять это, однако встречает с

его стороны вежливый, но решительный отпор: Честер любит одну из придворных дам королевы и любим ею. В первый момент Елизавета загорается гневом; она хочет казнить любовников, упиться их муками, но гнев проходит, страдания обманувшегося в надеждах сердца слишком велики, чтобы его можно было погасить актом вульгарной тирании. И вот Елизавета сама соединяет любящих. А когда они, счастливые, уходят, королева в изнеможении опускается в кресло и говорит «под занавес» несколько простых слов о том, что ей «пора, пора!»...

– Как это должно быть прекрасно! – воскликнула Луиза.

– Нет, – просто возразил Ренэ, – как пьеса, как драматическое произведение «Елизавета Тюдор» не представляет собою ничего выдающегося. Но я поработал над стихом и могу сказать, что с внешней стороны пьеса должна произвести большое впечатление. Пусть я покажусь тебе самовлюбленной бездарностью, но я смело скажу, что французская сцена еще не видала произведения, написанного так, как это, и подкупающее такой трогательной простотой, такой понятной и тем еще более трагичной драмой женского увядания. Только видишь ли, дорогая моя, я так много и страстно работал над своей «Елизаветой», что теперь долго не смогу ничего создать. Теперь у меня хватит сил еще на отделку некоторых мест, а затем пьеса должна быть поставлена, понимаешь ли: должна! У меня нет сил терпеть больше, двадцать пять лет я терпел нужду и лишения, двадцать пять лет отказывал себе

во всем, но двадцать шестой год не должен застать меня в неизвестности и нищете. Или я буду знаменит, или меня не будет совсем. Понимаешь ли ты теперь, почему я впал в такое отчаяние, когда Жозефина заговорила со мною о разрыве? Кто, кроме нее, может открыть доступ на сцену моему произведению? Кто, кроме нее, может заставить все гостиные Парижа говорить обо мне? Я уже сказал тебе, что люблю только свою славу и тебя, но, ни то, ни другое недостижимы для меня без помощи Жозефины! Я давно уже заметил, какими глазами ты смотришь на меня, дорогая Луиза, и давно уже твоя любовь пробудила в моем сердце ответную страсть. Но я не коснусь тебя, я не заговорю с тобой о жизни вдвоем, пока не буду в силах оградить эту жизнь от нужды. Поэтому я молчал до сих пор... Ну, теперь ты знаешь все! Теперь суди меня, называй безнравственным, коварным... Ну что же ты не начинаешь своей обвинительной речи?

Однако Луиза молчала. Крупные слезы текли из ее глаз, и горло перехватывала судорога рыданий!

VII

Жозефина нарочно отправилась на вечер к Баррасу пораньше, так как хотела переговорить с ним о важном деле. На самом балу это могло и не удалиться, так как Тереза Тальен, наверное, помешала бы им. Львица парижских «мервельезок» была слишком умна, чтобы ревновать Барраса вообще; она понимала, что нельзя требовать невозможного и что сластолюбивая натура Барраса не создана для верности. Считаясь с этим, Тереза порою даже сама подсовывала новых гурий в Магометов рай Барраса, но не оправдала бы установившегося мнения о своем уме, если бы не соблюдала при этом известной осторожности и не устраняла тех, кто мог казаться опасным ее первенствующему влиянию на всемогущего директора. Жозефина была как раз одной из тех, которые казались Терезе наиболее опасными. Было нечто такое в ленивой грации чувственной креолки, что неудержимо влекло к ней мужчин, что было способно надолго приковать возлюбленного к ее знойному телу. Тереза была подругой Жозефины, искренне любила креолку, но себя любила еще больше. И не для того с таким трудом вытеснила она Жозефину из сердца Барраса, чтобы дать подруге случай снова и еще крепче утвердиться там.

Если Жозефина и не отличалась особым умом, то у нее было много того женского чутья и такта, с помощью которых

дочери Евы порой проводят за нос мудрейшего и хитрейшего мужчину. Богарнэ сразу поняла, что борьба с Тальен ей не под силу, что победа сомнительна, а поражение будет равносильно смертному приговору, тогда как добровольное подчинение расположит в ее пользу подругу. Поэтому Жозефина сама помогла Терезе в ее игре и добровольно отстранилась. Однако она не порывала с Баррасом и по временам тайком виделась с ним, так как Баррас оставался главным источником ее средств к существованию. Но в последнее время Баррас стал уклоняться от свиданий и скупиться на подарки. Вот об этом-то и хотела переговорить с ним Жозефина Богарнэ.

Быстро скользнув через ряд нарядных залов, готовых встретить толпы самых изысканных гостей, Жозефина прошла прямо в кабинет Барраса, где хозяин, уже совсем одетый, просматривал какие-то бумаги.

– Однако! – весело воскликнула креолка, впархивая в комнату. – Сказать по правде, я не ожидала встретить у тебя такую роскошь, гражданин директор! С каким вкусом убраны комнаты, сколько света, цветов, нарядной прислуги!

– Здравствуй, милая Иейетта! – ответил Баррас, вставая и бесцеремонно целуя Жозефину в обе щеки. – Да, милая моя, сейчас, обходя комнаты, чтобы кинуть последний хозяйский взгляд, я сам невольно подумал, как преобразился Люксембург в каких-нибудь два месяца! Когда двадцать седьмого октября – или пятого брюмера по-республикански – мы, пя-

теро директоров, явились сюда, то не застали никакой мебели. Привратник Дюпон притащил охапку дров, развел огонь в камине и поставил перед камином четыре соломенных стула и колченогий маленький столик. У нас с собою были тетрадка почтовой бумаги и письменный прибор, предусмотрительно захваченный нами из комитета общественного спасения. В комнате стояла страшная сырость, от которой хуже, чем от мороза, пробирал озноб. Сырые дрова трещали, но не хотели разгореться ярким пламенем и согреть нас хоть немного. Только после долгих усилий пальцы, заостеневшие в этой холодной сырости, начали кое-как повиноваться нам, и можно было начать вести протокол первого заседания директории! Да, да! Никто, увидев нас здесь тогда, не поверил бы, что мы собрались с твердой решимостью спасти отечество, расшатанное пятилетними неурядицами. Однако не будем вспоминать! Ведь в прошлом было много мрачного и тяжелого, будем жить светлым будущим!

– Не одно мрачное и тяжелое было в прошлом, – мечтательно ответила Жозефина, – и не для всякого будущее представляется светлым! У меня по крайней мере в прошлом была твоя любовь, а в будущем – ничего!

– Надеюсь, ты не для того пожелала видеться со мною наедине, милая Иейетта, чтобы говорить о чувствах? – с тонкой улыбкой спросил Баррас.

– О, конечно, нет! – с некоторой досадой ответила креолка. – Бесплезной работой было бы оспаривать твое сердце,

тщательно расписанное по участкам и все сплошь сданное в краткосрочную аренду. Я только вскользь заметила, что участок, который был отведен мне, все урезывается.

– Значит, ты пришла потолковать о другом? – заметил Баррас, пропуская мимо ушей намек Жозефины. – Ну-с, так чем я могу служить тебе?

– Я пришла к тебе как к другу, чтобы ты посоветовал мне, как выйти из отвратительного положения. Мои денежные дела становятся все хуже и хуже; доходов нет, расходы растут. Ведь моему сыну Евгению уже четырнадцать лет, дочери Гортензии – двенадцать; их надо учить, одевать... Евгений становится юношей, у которого тоже имеются свои потребности, а следовательно, и свои расходы. А ведь и я молода, у меня свои личные расходы... Надо вести дом. Я просто с ума схожу, ломая голову, как вывернуться, как выйти из этого положения.

– Ну, у тебя может быть то утешение, что у Франции дела обстоят совершенно так же, лишь в несколько большем масштабе! Да, да, милая моя, экономический кризис – вообще бедствие, государственное и частное!

– Баррас! – воскликнула креолка вспыхивая. – Вот и видно, какие негодяи вы все, мужчины! У нас, женщин, всегда остается в сердце клочок добрых чувств, частица чистой дружбы к тем, кого мы любили прежде, а вот вы совершенно выкидываете нас из своей души, как только мы перестаем дразнить ваши чувства! Я пришла к тебе за помощью, как к

другу, а ты отделиваешься шутками дурного тона!

– За помощью? – повторил Баррас и, выдвинув ящик письменного стола, сухо спросил: – Сколько на этот раз?

– Гражданин Баррас! – бледнея от бешенства, сказала крепкая. – Если не ошибаюсь, когда-то вы именовались виконтом Поль де Баррас?

– О, революция бесследно смела все эти условности! – равнодушно отпарировал директор.

– А чувство чести, рыцарские обязанности к женщине – тоже условности, которые смела революция? – отрезала Жозефина.

На этот раз она попала в цель, задев больную жилку Барраса. Этот сластолюбец любил хвастать как раз своим рыцарством, а теперь оно так категорично бралось под сомнение! Он покраснел и отрывисто спросил:

– Что же тебе не нравится в моем поведении?

– То, что ты так грубо предлагаешь мне деньги, словно я ночная фея, пришедшая требовать расчета за услуги, то, что ты употребляешь все усилия, чтобы я поняла, насколько я тебе надоела, и – главное – что ты не хочешь даже понять, зачем я пришла. Ну дашь ты мне еще сегодня денег! Но разве это источник существования? Разве это – выход из затруднительного положения? Друг мой, я заслужила лучшее мнение о себе! Я могу принять подарок от друга, но не унижусь до того, чтобы жить подачками от отвергнувшего меня любовника!

– Прости, если я невольно обидел тебя, милая Жозефина, но я даже рад, что эта мнимая обида направила наш разговор на надлежащий путь! Мне приятно слышать, что ты судишь так здраво. Конечно, денежная помощь – лишь временное устранение признаков болезни, но не ее излечение. Деньги ты, разумеется, возьми, они тебе нужны. Вот! – Баррас сунул руку в ящик, захватил горсть золотых и, не считая их, высыпал деньги в сумочку креолки. – Но ты понимаешь сама, что желание быть щедрым не всегда идет рука об руку с возможностью быть им. Следовательно, истинной помощью с моей стороны будет, если я создам тебе независимое положение. Если бы ты была мужчиной, я мог бы дать тебе какое-нибудь место, синекуру... Но ты – женщина. Гарантией обеспеченности для тебя может служить только разумное замужество, о чем я уже давно твержу тебе! Ну, так выбери же себе мужа, и вот тогда я докажу тебе, что гражданин Баррас недаром именовался некогда виконтом де Баррас! Я дам тебе отличное приданое, а именно – все свое влияние для успешной карьеры мужа моей Иейетты!

– Да, хорошо тебе говорить – «выбери себе мужа»! – с досадой воскликнула Жозефина. – А откуда его взять?

– Ну, ты требуешь от меня слишком многого! – возразил смеясь Баррас. – Уж мужа-то ты должна найти себе сама! Впрочем, ведь я еще недавно говорил тебе, чтобы ты обратила внимание на генерала Бонапарта. Я уверен, что этот молодой человек взлетит когда-нибудь на небывалую высоту!

– Если бы я могла разделить твою уверенность, я сейчас же взялась бы за него. Но где доказательства, что Бонапарт будет играть какую-нибудь роль? А ведь если вы оставите его в таком положении, в каком он находится сейчас... Брр! Я просто вспомнить не могу без дрожи о моей встрече с ним у Терезы! Этот обтрепанный мундир, дырявые сапоги и специфический запах бедности, запах заношенного платья и подвальной сырости... Господи, да я умерла бы от отвращения в его объятьях!

– Ну, ну, не надо так преувеличивать, милая Иейетта! Во-первых, наш «генерал Вандемьер» теперь уже не имеет такого ужасного вида – он обмундировался, переменял комнату и вообще смотрится совсем молодцом. Но даже и в таком сравнительно приличном положении Бонапарта мы долго не оставим. Во-первых, он сам для этого – слишком большой человек. Отчасти в этом-то и затруднение. Мы не можем поручить ему командование какой-нибудь частью итальянской армии, так как наш воин совершенно отвергает тактику Шерера, и нельзя допустить, чтобы подчиненный шел наперекрест планам начальника. Ну, а поручить ему заменить Шерера, который терпит неудачу за неудачей... В сущности я, пожалуй, рискнул бы на это, потому что, по-моему, Бонапарта с его широкими планами ждет невероятная удача. Но мои товарищи против него и стоят за Шерера! Во всяком случае что-нибудь крупное скоро представится Бонапарту, и тогда он быстро отличится. Это – во-первых. Во-вторых, следую-

щее: раз Бонапарт станет твоим мужем, то мое личное к нему расположение подкрепится еще желанием быть полезным тебе. Тогда уже я на многое рискну, на что не хочу рискнуть теперь; тогда карьера Бонапарта будет сделана уже в любом случае, потому что на самом деле я все еще очень люблю свою Иейетточку, свою славную кошечку! Ты вот только что сказала неумное слово, назвав меня отвергнувшим тебя любовником. Ну как тебе не стыдно, Иейетточка? – взор Барраса скользнул по пышной фигуре креолки и загорелся знакомым Жозефине похотливым огоньком. – Я всегда рад провести с тобою час-другой наедине, и даже сейчас...

Однако он оборвал себя на полупhrазе, так как дверь кабинета раскрылась, и на пороге показалась Тереза Тальен.

Вопрос, с которым хотела обратиться к Баррасу Тереза, замер на ее устах, щеки слегка порозовели и в глазах сверкнуло ревнивое раздражение при виде Жозефины.

– Ба, ты здесь, Жозефина? – сказала она, подходя ближе. – Что же, это – деловое заседание?

– Да еще какое, Тереза! – весело подхватил Баррас. – Ты не можешь себе представить, до чего высоко стоят в глазах парижан власть и влияние директории и как безгранично расширяются функции! Гражданка Богарнэ решила, что ей не остается ничего иного, как только выйти замуж, и вот директория должна найти и посватать ей жениха!

– Ну и ты оказался на высоте этих новых обязанностей директора? – спросила Тереза, смеясь, хотя и кидая украд-

кой недоверчивый взгляд на застигнутую ею парочку.

– Да вовсе нет! – с гримаской отозвалась Жозефина. – Представь себе, Терезочка, он сватает мне Бонапарта, находя, что этот генерал-санкюлот сделает когда-нибудь блестящую карьеру!

– Что ж, по-моему, Баррас далеко не так неправ, как тебе кажется, Жозефина! – ответила Тереза. – Я тоже убеждена, что Бонапарт еще покажет себя. Да и вообще он очень подходящий муж для тебя! Конечно, он, наверное, моложе тебя, но... Ну, да мы об этом еще поговорим с тобою, Иейетта, а теперь необходимо обсудить нечто более экстренное и насущное. Позволь мне, Баррас, как приглашенной тобою хозяйке вечера, осведомиться, что будет предложено гостям в качестве развлечений?

– О, с этой стороны все обстоит совершенно благополучно, Тереза! – ответил Баррас. – Программа составлена очень обширно и разнообразно. В качестве боевых номеров назову тебе, например, Тальма, который прочтет с двумя артистками несколько сцен из какой-то трагедии...

– Из этих артисток одна, конечно, – Вангов? – спросила Тереза с лукавой улыбкой.

– Ну, конечно! Разве Тальма упустит случай показать с выгодной стороны эту хитрую девчонку, за которой он так отчаянно бегает и которая окрутит его вокруг пальца!

– Бедная Жюли! – вздохнула Тереза. – Ну а другая кто?

– Другая – некогда знаменитая Аделаида Гюс, гремевшая

при всех европейских дворах и ныне снова принятая на сцену «Комеди Франсэз». Я, по правде сказать, до археологии не охотник, но за Гюс особенно просил Тальма. Ну-с, затем Тренис поставит нам легенький балетный номер. А особенно ударным номером будет выступление Гара!

– Гара? – с величайшим недоумением произнесла Тереза.

– Уж не думаешь ли ты, что я пригласил участвовать в концерте Жозефа Гара? – воскликнул Баррас, покатываясь с хохота. – Нет, пусть уж этот скучный господин развлекает свое министерство юстиции, здесь же он будет лишь в качестве зрителя. Дело идет о его племяннике, Доминике. Он – прелестный певец, но его истинная сила не в этом. Доминик поразительно пародирует всевозможные инструменты, словно в этом человеке засел целый оркестр. Затем он может петь любым голосом – тенором, басом, сопрано, контральто, передразнить крик любого животного или птицы. О, с нашей легкой руки он быстро войдет в моду, и эти имитации дадут ему гораздо больше, чем его песенки! Ну-с, затем приглашено еще несколько серьезных певцов и музыкантов, а чтобы публика не скучала, между серьезными номерами несколько раз выступит Муссон!

– Ах, вот хорошо! – воскликнула Жозефина, по-детски захлопав в ладоши. – Как я люблю Муссона, что это за веселый, остроумный клоун!

– Ну а я нахожу его вульгарным, – возразила Тереза. – Но не будем спорить, у всякого свой вкус. Итак, эта часть

вечера обстоит как следует. Теперь относительно буфета. Я думаю... – и Тереза Тальен погрузилась в дебри тончайших хозяйственных соображений.

VIII

– Смотри, Мари, хорошо ли ты проштудировала свою роль? – шепотом спросил Тальма молоденькую Вангов, отведя ее в угол сборной комнаты. – Ты выступаешь перед избранным обществом, и очень важно...

– Ну вот! – перебила Тальма артистка с лукавой улыбкой. – Все равно никто не обратит на меня внимания, которое будет целиком обращено на Гюс!

– Да нет же, Мари, ты ошибаешься! Твоя роль более выигрышна, и в ней...

– Господи, да разве я об этом говорю! В театре на репетициях Гюс стоит за кулисами без всякой роли, а между тем мы сбиваемся с реплик, заглядываясь на нее! Просто умора берет смотреть, как эта старая дура ест тебя глазами! Несравненный Франсуа Тальма, на вашу долю выпала незаурядная честь и редкое счастье стать предметом страстной любви самой Аделаиды Гюс!

– Не говори гадостей, Мари!

– Извольте не точно выражаться! Я говорю не гадости, а о гадости!

– Как ты зла! Гюс – очень приличная женщина, которая много страдала и грешила, но искренне любит искусство и...

– И, конечно, любит не на красавчика Тальма, а на великого артиста? Ну до чего вы, мужчины, тщеславны, просто

ужас! Влюбись в вас старый шелудивый козел, так вы и в нем будете находить приятность и достоинства!

– Ты – злобная, бессовестная дрянь! – окончательно рассердился Тальма и, отвернувшись от продолжавшей смеяться Вангов, подошел к скромно сидевшей в углу Адели.

Но его неприятно поразило, какой радостью осветилось лицо Гюс при его приближении. Хотя Тальма и прикрикнул на задорную Вангов, но он и сам замечал порой, что Адель чересчур млеет перед ним. До сих пор Тальма объяснял это некоторым раболепством артистки, бывшей долго без ангажемента и боявшейся потерять службу из-за недостатка угодливости. Теперь ему вдруг пришло в голову, что Мари, пожалуй, права. Он тут же отогнал от себя мысль, показавшуюся слишком чудовищной, нелепой, но на душе у него все же остался горький осадок. Тальма не знал, как ему быть. Он не мог отвернуться от Гюс на полдороге и не хотел подойти к ней. Его выручил сигнал, которым всех троих просили пожаловать на эстраду.

Хотя во время читки Адель действительно «ела глазами» Тальма, хотя Вангов, от души забавлявшаяся ужимками Гюс, читала прескверно и порой пропускала и комкала реплики, это осталось совершенно незамеченным публикой. Ведь среди всех присутствующих не нашлось бы и десяти человек, которым говорила что-нибудь серьезная классическая поэзия. Конечно, было интересно посмотреть на знаменитого Тальма «в натуре», посудачить насчет «бесенка Вангов» и

вспомнить какое-нибудь легендарное приключение Аделаиды Гюс, о котором тот или иной «инкруаябль» слышал от своего отца. Но сама пьеса не интересовала никого, и Адель с грустью слушала, какими бурными проявлениями восторга встретила публика выход клоуна Муссона.

В артистической комнате Гюс, сошедшая с эстрады позже всех и несколько задержавшаяся в зале из-за Муссона, застала Тальма шепчущимся с Вангов. Адель знала, что их обоих связывает зарождающаяся любовь, но это не причиняло ей ни малейших страданий. Она понимала, что уже не может соперничать ни с кем на свете, что сердце Тальма никогда не будет принадлежать ей. Но в самообмане страсти Адели казалось, что у Тальма все-таки есть чисто физическое влечение к ней. Эх, один бы только раз испытать взрыв чувственного упоения, один только раз пережить восторги разделенной страсти, а потом... потом хоть и в могилу! И вспоминая свою жизнь, вспоминая, что она так много служила чужим прихотям чувственности и так мало могла следовать своим, Адель невольно кинула на Тальма молящий, томный взгляд.

Уловив этот взгляд, Вангов хихикнула и подтолкнула локтем Тальма. Артист вспыхнул, вскочил и резким тоном обратился к Адели:

– Я должен сделать вам замечание, Гюс, по поводу вашей читки! Неужели вы не понимаете сами, что читать пьесу не значит играть ее? Насколько актер должен всем телом переживать исполнение, настолько же чтец должен не изме-

нять полному спокойствию, ограничивая переживания одними интонациями голоса. А вы гримасничаете, делаете какие-то нелепые телодвижения...

– Да, да! – подхватила хихикнув Вангов. – Можно было подумать, что вы и в самом деле влюблены в вашего партнера... не по пьесе только, а и на самом деле.

– Ну, а если бы так и было? – грустно, но совершенно спокойно спросила Адель.

– Вот это мне нравится! – воскликнула Вангов. – Да, тут есть от чего со смеха лопнуть! Вы, конечно, шутите, потому что не можете не понимать, что в известном возрасте любовь становится смешной для того, кто ею воспламеняется, и оскорбительной для того, на кого она обращена!

– Я, конечно, шучу, – с прежним грустным спокойствием ответила Адель, – но и вы ошибаетесь со всей самонадеянностью молодости, еще не знающей, что за страшное понятие – жизнь! Именно потому, что любовь не разбирает возраста, она не может быть смешна, как не смешно, если взрослый человек заболевает корью. И любовь, и корь тем и отличаются, что чем позднее поражает это несчастье человека, тем оно опаснее... Ну, а что касается оскорбительности... Разве для Бога оскорбительно, что ползучий червь славословит Его так же, как и светлый ангел? А ведь для женщины любимый – всегда Бог! Но ведь вы молоды, еще не знали истинных страданий. Вы никогда не кинули бы мне этих презрительных, обидных слов, никогда не заговорили бы о моем

возрасте, если бы понимали, какой глубокой трагедией и без того полно увядание женщины, некогда по праву считавшейся красавицей. Если в эту трагедию замешается еще любовь, то для женщины в этом такое проклятие, перед которым далеко отступает все смешное и оскорбительное... Но вы еще не понимаете этого! Дай Бог вам никогда не понять!

Адель поклонилась Тальма и Вангов и повернулась, чтобы выйти из комнаты. Но артист остановил ее:

– Пойдите, я еще не все сказал! Я указал на недостаток вашего исполнения, но не успел похвалить вас. А вы заслуживаете похвалы, потому что читали прекрасно, как и не снилось этой маленькой злючке! Я всегда рад иметь вас своим партнером. А на Мари вы не обращайте внимания. Она – просто шаловливый ребенок, не понимающий того, что болтает! Ее только и хватает, что на такие выходки, а вот поработать над ролью – это ей не по нраву! Но погодите, Гюс, мы еще покажем с вами всем этим смешливым дурочкам, что значит истинная школа!

Гюс снова молча поклонилась и вышла из комнаты. Она не могла выговорить ни слова в ответ на ласковую речь Тальма – до такой степени острое блаженство переполняло ее сердце. Значит, он все-таки оценил ее! Ведь он заявил, что всегда рад иметь ее своим партнером, морально поставил Вангов в угол, не постеснялся вступить за нее, Адель, и указать этой девчонке ее настоящее место! Неужели и в самом деле у Тальма, пробудилось некоторое влечение к ней?

А почему бы и нет? Что значит возраст? Женщине столько лет, сколько ей кажется!

Полная сладких дум Адель не шла, а словно плыла по залу, будто боясь расплескать переполненную чашу с драгоценным напитком. Адели было даже неприятно, когда ее остановила Тальен и сказала несколько комплиментов, пробудивших артистку от ее нежных грез, и уже совсем невыносимым показалось, когда собеседник Терезы, генерал Бонапарт, атаковал ее целым градом вопросов. Адели страстно хотелось уйти скорее домой, в тишину своей комнаты чтобы остаться наедине со своими грезами, а тут ей приходилось рассказывать пытливому воину, что представлял собою Григорий Орлов, правда ли, что Алексей Орлов в военном деле был полным ничтожеством и что его победа при Чесме – простая случайность. Не ограничиваясь Россией, Бонапарт перескочил на Швецию, стал расспрашивать о короле Густаве Третьем, павшем жертвой покушения три года тому назад, об Анкарстреме, его убийце, о тамошних генералах. К счастью, Адель выручила креолка Богарнэ.

Жозефина с самого начала вечера решила присмотреться поближе к «генералу Вандемьеру», но это было легче сказать, чем сделать. Рой модниц окружил модного генерала, дамы и девицы наперебой ухаживали за ним, а когда началось концертное отделение и толпа вокруг героя дня несколько поредела, госпожа Шато-Реньоль увлекла Жозефину в зрительный зал. Креолка кое-как отделалась от по-

други, любезность которой теперь казалась просто навязчивой, снова вернулась в салон, но застала Бонапарта в оживленной беседе с тремя «мервельезками». Попытка Жозефины обратить на себя внимание Наполеона не увенчалась успехом: он ее просто не заметил. Горячая досада вспыхнула в сердце Жозефины, и, стиснув зубы, она поклялась, что пустит в ход все свое обаяние и затмит для молодого генерала всех остальных женщин. Но в данный момент пришлось с равнодушным видом отойти в сторону и пройти дальше, будто она только так, случайно остановилась возле группы.

Обойдя еще раз комнаты и поболтав кое с кем из гостей, Жозефина снова вернулась в салон. Еще у дверей она заметила, что Бонапарт беседует с Аделаидой Гюс. Ну это не опасно ей! Жозефина поспешно двинулась к ним; ее глаза горели, грудь бурно вздымалась. Бонапарт по-прежнему не привлекал ее как мужчина, по-прежнему она находила, что даже в целых сапогах и новом мундире генерал слишком далек от идеала изящного «инкруаябля». Но Бонапарт был окружен дамами, его улыбки домогались самые модные львицы, в нем заискивали самые гордые «мервельезки». Неужели же она, Жозефина, допустит, чтобы кто-нибудь восторжествовал над нею и она потерпела неудачу там, где другая сможет похвастать успехом?

– Мой милый генерал! – заговорила Жозефина, играя влажным блеском томных глаз и пленительно улыбаясь. – Позвольте мне напомнить вам о себе. Осенью я имела сча-

стье встретиться с вами у Терезы Тальен. О, с того времени многое изменилось! Скромный боевой генерал, осыпаемый безвкусными шутками разнузданной, пустоголовой молодежи, превратился в блестящего героя, в спасителя отечества, которому в особенности обязаны мы, парижане. Позвольте же мне присоединить свой скромный голос к общему хору, прославляющему героя тринадцатого вандемьера!

Бонапарт равнодушно скользнул взором по фигуре Жозефины и с сожалением посмотрел вслед Адели, которая поспешила воспользоваться вмешательством креолки и скрыться домой. Она была рада избавиться от докучливых расспросов генерала, ей хотелось остаться наедине со своими чувствами!

Однако Жозефина кончила свою льстивую речь, надо было ответить ей что-либо.

– Вы слишком добры! – отрывисто, словно отрубая саблей каждое слово, сказал Бонапарт. – Я лишь исполнил свой...

Говоря это, Бонапарт равнодушно поднял взор к лицу Жозефины и вдруг остановился, пораженный и восхищенный. Словно электрический разряд коснулся его из этих глаз, полных страсти, призыва и обещаний! Где-то в дальнем уголке души Бонапарта вдруг блеснуло полуосознанное предчувствие, что эта женщина должна сыграть большую, серьезную роль в его жизни.

Волнение, так красноречиво и явно охватившее молодого генерала, невольно заразило и Жозефину. Женщина не

может оставаться равнодушной, когда видит, что произвела сильное впечатление. Богарнэ тоже на мгновение показалось, что какой-то указующий перст ведет ее судьбу к этому некрасивому, бледному юноше!

Некоторое время они простояли молча. Наполеон пожирал взорами Жозефину, все более восхищаясь ею, все более недоумевая, как мог он раньше не заметить ее, а креолка молчала, объятая непривычным томным смущением.

Жозефина первая очнулась.

– Однако что же мы стоим с вами, генерал? Хотите, присядем? – с застенчивой улыбкой спросила Жозефина, указывая кивком головы на уютный уголок около трельяжа с цветами.

Там они и уселись, там и просидели большую часть вечера. Мимо них проходили толпы гостей, к ним врывались звуки бальной музыки, порою кто-нибудь подходил к ним и обращался с каким-нибудь вопросом, замечанием, шуткой. Ни Жозефина, ни Бонапарт ничего не слышали, ни на что не обращали внимания. Они были глухи ко всему, кроме того сладкого волнения, в которое погружала их обоих близость друг к другу. Они мало говорили, больше молчали и глядели друг на друга, но это молчание было красноречивее самых громких фраз, самых страстных признаний.

Так прошел вечер. Не дожидаясь окончания бала, Жозефина и Бонапарт по молчаливому уговору незаметно ускользнули из Люксембурга. Наполеон проводил креолку

до дверей ее дома. Здесь Жозефина неуверенно пробормотала:

– Я – дома... До свиданья и спасибо, генерал! Надеюсь, вы не забудете меня?

Ничего не отвечая, Бонапарт взял креолку под руку и увлек ее в квартиру. Жозефина не могла ни протестовать, ни сопротивляться, ее воля была парализована. Она сама не понимала, что происходит с ней, досадовала на свою связанность, но не была в состоянии разорвать сковывавшее ее оцепенение. От Бонапарта исходила какая-то властная струя, парабощавшая и исключавшая возможность сопротивления.

IX

На следующий день Тальен и Шато-Реньоль, подстрекаемые любопытством, отправились, на правах добрых друзей, проведать Жозефину, чтобы разузнать подробности приключения, о котором уже болтали языки светских кумушек. Ведь все заметили, что остаток вечера Жозефина и Бонапарт провели вместе, многие видели, как они ушли вдвоем, не дожидаясь конца празднества, а так как податливость чувственной креолки была широко известна, то никто не сомневался, что, провожая Жозефину, Бонапарт мог зайти очень далеко. Вот и интересно было узнать подробно, как и что.

Кроме того, Терезу Тальен это приключение интересовало еще и лично. Если Жозефина увлечется Бонапартом или решит выйти за него замуж, тогда Баррас станет уже вне посягательств Жозефины, и она, Тереза, может не бояться ее соперничества. Поэтому Тальен было вдвойне интересно разузнать от подруги все подробности.

Когда Жозефина вышла к подругам, те ахнули при виде нее. Бледная, словно вдруг похудевшая, креолка казалась перенесшей тяжелую, изнурительную болезнь.

– Что с тобой, дорогая? – воскликнула Тереза.

– Ах, не спрашивай!.. – безжизненным тоном ответила Жозефина, устало опускаясь на стул.

– Но ты пугаешь и интригуешь нас, Иейетточка! – подхва-

тила Шато-Реньоль. – Слухи о твоей победе над блестящим победителем уже облетели весь Париж, и мы рассчитывали застать тебя... ну, утомленной, томной, пожалуй, но во всяком случае счастливой, а у тебя такой вид, словно ты пережила целую трагедию!

– Больше, чем трагедию! – устало ответила Жозефина, каким-то пустым, невидящим взором глядя в пространство. – Я пережила кошмар, лихорадочный бред, безумие. Ах, вы не можете представить себе... – и Жозефина неожиданно расплакалась.

Подруги кинулись к креолке, и, когда удалось немного успокоить ее, она рассказала им, что собственно повергло ее в такое состояние.

Жозефина испытала многое на свете и перевидала всякие типы мужчин. Ей приходилось встречать робких влюбленных, способных месяцами вздыхать, не осмеливаясь приблизиться к предмету своих грез. Встречала она и таких, которые подкупали именно своей смелостью, умели решительным натиском побороть и решить в свою пользу колебания возлюбленной. Но всегда и во всех случаях любовь увенчивалась после некоторого искуса, после более или менее долгой поэмы нарастания чувства. А этот варвар – Бонапарт – просто схватил, смял, скомкал ее, как законную добычу. Он ничего не спросил, ни о чем не осведомился, ни с чем не захотел считаться, а просто взял, будто в данном случае весь вопрос был лишь в его желании, в его воле. И это бесконечно

унижало Жозефину. Будто она – не человек, а просто животное, предназначенное служить капризу и прихотям первого встречного господина! И еще более унижало ее в собственных глазах, доводило до полного отчаяния, до сумасшествия сознание, что как ни возмущается она грубым насилием этого солдафона, а войди он сейчас в комнату, только посмотри на нее своим зачаровывающим, полным властного огня взором, – и она снова будет безвольной, покорной рабой в его руках!

– Кто бы мог подумать! – воскликнула Реньоль. – А ведь генерал выглядит в обществе таким застенчивым, таким скромным, серьезным! Вот уж правду говорит пословица, что «нет опаснее вод, чем стоячие»⁹!

– Ну, Жозефина, – заметила с довольной улыбкой Тереза, – ты забываешь, что Бонапарт по профессии – воин и что героям свойственно быть стремительными в натиске! Они берут крепости, как женщин, и женщин, как крепости. Уже из этого эпизода ты можешь заключить, что наш генерал имеет все данные выдвинуться на поприще, где все достигается быстротой и энергией, и что, следовательно, его карьера, в которой ты сомневалась, обеспечена. Впрочем, после всего случившегося твои сомнения уже не играют роли, и если Бонапарт так властен, как ты говоришь, то, наверное, мы скоро будем пировать на твоей свадьбе!

– Никогда! – крикнула Жозефина, вдруг обретая утрачен-

⁹ Соответствует русской пословице «В тихом омуте черти водятся».

ную энергию. – Чтобы я стала женой, то есть постоянной жертвой этого неистового зверя? Никогда! Говорю тебе, Тереза, это – не человек, а дикий зверь, волк, тигр! Целуя, он кусает, а обнимая, душит! Посмотри на меня – я вся истерзана, смята, растоптана, я сама на себя непохожа! Да и можно ли выдержать постоянную совместную жизнь с человеком, который до такой степени переполнен сам собою, словно губка водой! Он замучил меня не только неистовыми объятьями, но и бесконечными разговорами о самом себе. Порой я начинала бояться, не одержим ли он опасным помешательством. Он вырывался из объятий, принимался бегать по комнате и кричать что-то бредовое про свои великие планы, про свое предназначение осуществить великую миссию. Господи, да разве я помню, что еще кричал он? Я не поняла половины, да и где мне было понимать что-либо, когда я только тряслась, словно осиновый лист, и чувствовала себя ягненком, ожидающим заклятия на ступенях алтаря! Ах, что это за странный, непонятный человек! Быть его женой? Да разве можно выдержать долго в атмосфере палящей сухости, веющей от него, разве можно долго прожить, сознавая, что рядом с этим человеком ты – ничто, что он заполнил своим «я» весь мир, не оставляя тебе свободного местечка, чтобы вздохнуть. Нет, если бы случилось такое несчастье, что я должна была бы стать его женой, это продлилось бы недолго. Скоро наступил бы момент, когда я подсыпала бы ему в питье яд или поразила бы его ночью кинжалом.

– Ну, ну, все это не так страшно, как кажется! – заметила Тереза, вставая со стула и касаясь губами лба Жозефины в прощальном поцелуе. – Важно то, что Бонапарт вызвал в тебе сильное чувство, и если пока это чувство и граничит с ненавистью, то до любви тут один шаг! Поживем – увидим.

Тальен и Реньоль ушли.

Вскоре явился Карьо. Поэт хотел привычным жестом обнять бледную, задумчивую креолку, но она мягко отстранила его и решительно сказала:

– Нет, нет, Ренэ, с этим кончено, и кончено навсегда! Еще вчера мне казалось, что у меня не хватит сил расстаться с тобой. Но сегодня я уже гляжу на тебя, как на далекую тень, и не верится, что еще вчера я была близка тебе! Да, друг мой, бывают годы, которые словно стоят на месте, и бывают дни, которые опережают нас на годы! Увы, милый мой, капризная, своенравная Жозефина нашла своего господина, который властен распоряжаться ею, как безвольной рабой. Между нами все кончено, милый Ренэ!

– Все? – воскликнул Ренэ бледнея. – Как, из-за того, что ты полюбила...

– Я не полюбила, а возненавидела, потому что не может раба не ненавидеть своего господина! Но в этом новом роковом чувстве вся любовь к тебе растворилась без следа!

– Пусть так! Пусть ты не полюбила другого, а просто разлюбила меня. Но только, Жозефина, любила ли ты меня действительно когда-нибудь?

– О, да, Ренэ, о, да!

– О, нет, Жозефина, о, нет! Ты сама сказала вчера, что мы просто нравились друг другу, чувствовали взаимное влечение и, как свободные люди, позволили себе роскошь отдать-ся ему. Но раз мы потеряли эту свободу, мы порываем как любовники. Это я понимаю. Но неужели нас связывало лишь чувственное влечение? Неужели во мне самом ты не нашла ничего такого, что казалось бы тебе нужным и ценным?

– Нет, Ренэ, я всегда буду с нежностью думать о тебе. Но... вот пришел человек, который захватил меня всю, без остатка. Потерпит ли он, чтобы около меня был посторонний?

– Неужели же ты пойдешь в такое рабство? Неужели согласишься подчинить всю себя чужому желанию вместе с телом, мыслями, волей?

– Ах, что я знаю?... Бонапарт...

– А, так это – он!

– Бонапарт взял меня, словно законную добычу, и как могу я знать, насколько глубоко раскинется надо мною его власть? Быть может, я найду в себе силы быстро и легко сбросить навязанные им оковы, быть может, с каждым днем стану все безвольнее отдаваться зачаровывающей власти его взгляда... Ах, я ничего-ничего не знаю... Но в качестве кого представлю я тебя? В качестве вчерашнего любовника?

– Нет, зачем же... Хотя бы... в качестве молодого поэта, ищущего покровительства влиятельной великосветской львицы! А ведь твое покровительство и в самом деле очень

нужно мне именно в данный момент!

– Да? – сухо и коротко спросила Жозефина, вспыхивая и подозрительно глядя на юношу. – Знаешь, друг Ренэ, мне начинает казаться, что это – вообще единственное, что тебе было нужно от меня! Значит, твои ласки расточались не женщине, а просто влиятельной личности?

– Полно, Жозефина! – спокойно ответил поэт. – Посмотри на себя в зеркало, и ты увидишь, можно ли подозревать кого-нибудь, что тебя ласкали с корыстной целью!

Жозефина не успела ничего ответить, так как дверь раскрылась и в комнату вошел Бонапарт.

Ренэ встал, вежливо поклонился ему и скромно вышел. Бонапарт проводил его хмурым, подозрительным взглядом и затем отошел к окну, где встал, молча скрестив руки на груди. Он был очень бледен, глубокое внутреннее волнение ясно отражалось на его лице.

Жозефина смотрела на юного генерала и не верила своим глазам. Что за наваждение нашло на нее вчера! И этого-то скромного, застенчивого юношу она приняла вчера за какое-то дикое животное, за нравственного гиганта, покоряющего, подавляющего своей мощной индивидуальностью?

Жозефина усмехнулась. Кора боязливой скованности спадала с ее сердца, горячая радость заливала душу. Свободна, свободна! Все было дурным сном, все было плодом разыгравшегося воображения!

Прошло несколько минут в молчании, во время которо-

го Бонапарт несколько раз порывался заговорить, но каждый раз смолкал, в нерешительности покусывая губы. Наконец он превозмог свое смущенье и начал, запинаясь и с трудом подыскивая выражения:

– Жозефина! То, что... случилось вчера... счастье, которым ты... меня...

– Как? – в притворном гневе перебила его Жозефина, – да вы не только осмелились явиться сюда после вчерашнего, генерал, но еще без стыда и совести решаетесь заговорить о том, что произошло? Вы позволили себе вчера воспользоваться беззащитностью одинокой женщины, вы нагло...

– Жозефина! – крикнул Бонапарт, в свою очередь перебивая креолку. – Если бы я не знал, что за этими пустыми фразами скрывается лишь простая женская игра, я заставил бы тебя дорого поплатиться за это лицемерие! – он сделал шаг вперед к Жозефине, осыпал ее молниями сверкающих взглядов, и снова Жозефина увидела того гиганта, который накануне властно поработил ее в одном порыве не ведающей преград страсти. – Но и игры я тоже не допущу в такой важный момент жизни! – уже спокойнее продолжал Бонапарт, меряя комнату резким, четким шагом. – То, что случилось вчера, не было игрой случая! Нас толкнула в объятия друг друга сама судьба, давно готовившая нас друг для друга. И не ради пустого удовлетворения плотских страстей, не ради низменного чувственного каприза сделала она это, о, нет! Жозефина, – Наполеон остановился и широко развел рука-

ми, – если бы ты только знала, какой пряный, волнующий, мятежный дух исходит от тебя! Я опьянен тобою, мой мозг горит, сердце разрывается в жажде подвига! Некоторые дикари поят своих воинов наркотическим питьем, и тогда воины, как безумные, кидаются вперед, все опрокидывая на своем пути. Вот и я, как подобный воин, опьянен тобою, я чувствую, что нет предела моему дерзновению, пока меня вдохновляет хмельная волна, исходящая от тебя! О, никогда в жизни не испытывал я еще такого влияния женщины! Пусть только твое имя будет у меня на устах, и я пронесу его с победным кличем по всему миру! Высоко взметнусь я, опьяненный тобою! Ах, Жозефина, как я полон тобою... – Наполеон подошел к креолке, опустился на пол и, положив ей голову на колени, опять стал маленьким, тихим, скромным, когда, словно засыпая, договорил: – И как я устал!..

– Ну вот, ну вот! – растерянно пробормотала Жозефина, тронутая помимо воли. – Ну вот, – повторила она и, подчиняясь неосознанному движению чувств, положила ему руку на голову и стала проводить ею по волосам, словно мать, успокаивающая огорченного ребенка. – Боже мой, ну что это за человек, из каких противоположностей соткана его натура! Ах, Бонапарт, Бонапарт, ты говоришь о любви и в то же время держишь себя так странно, что скорее отпугиваешь.

– Я много страдал, Жозефина, – тихим, словно виноватым голосом ответил Бонапарт, не поднимая головы с колен. – Вследствие постоянных лишений, огорчений и обид харак-

тер у меня стал страшно неровный. Но ты выровняешь его, Жозефина, когда станешь моей милой, дорогой женушкой!

– Твоей женой? – воскликнула Богарнэ. – Никогда!

Бонапарт вскочил с пола.

– Никогда? – неистово крикнул он, и опять его взоры заметали молнии. – Так что же, ты и в самом деле думаешь, что вчерашнее было простым приключением, обычным в вашем разнузданном Париже, не накладывающим никаких обязательств? Так ты думаешь, что я удовольствуюсь, сомнительной ролью любовника на час, с которым не считаются, которому...

– Но я ничего не говорю! – испуганно возразила Жозефина. – Я неправильно выразилась... Я хотела только сказать, что сейчас рано говорить об этом... Все произошло так случайно... Мы так мало знаем друг друга... Потом будет видно, но нельзя же решать так вдруг.

Она замолчала, испуганно исподлобья глядя на Бонапарта. Молчал и Наполеон, пронизывая креолку мрачным взглядом.

– Ты играешь в опасную игру, Жозефина! – сказал он наконец, и каждое его слово ударом молота падало на сердце креолки. – Все равно, ты не доросла до того, чтобы бороться со мною! Как бы ты ни сопротивлялась, раз я захотел этого, ты станешь моей женой так же, как стала любовницей! Но смотри: быть может, настанет день, когда каждое твое теперешнее «нет» всей тяжестью обрушится на тебя! Берегись,

Жозефина! Твоя молодость все равно будет принадлежать мне, но как бы ты не приуготовила себе печальной старости!

Х

В жизни часто случается, что ряд узлов, безнадежно завязавшихся над чьей-нибудь судьбой, вдруг распутываются благодаря пустой случайности. Так и тут несколько узлов в жизни ряда лиц вдруг развязались вследствие совершенно случайного совпадения обстоятельств.

Ренэ Карьо отделал свою пьесу «Елизавета» и метался в отчаянии, не зная, как пристроить ее: он уже не раз говорил об этом с Жозефиной, но креолка была в последнее время задумчива и рассеянна.

Франсуа Тальма брюзжал на весь Божий свет, так как у него не было новой пьесы с выигрышной ролью для него. Старые пьесы начали приедаться, их нельзя было часто ставить, а в новых, как на зло, не было роли.

А Аделаида Гюс переходила от отчаяния к бешенству, от бешенства к отчаянию. Ей вообще не давали ролей! Прошел ноябрь, прошел декабрь; по прежнему летоисчислению наступил Новый год, а она все еще не была ни разу занята. Адель не раз обращалась с жалобной претензией к Тальма, но великий артист только пожимал плечами и ссылался на невозможность сделать что-либо в данный момент: роли старого репертуара расписаны, а нового репертуара пока еще нет. И Адели приходилось толкаться незанятой, лишней за кулисами, с завистью поглядывая на кипучую работу других.

И вдруг все это сразу развязалось, вдруг все трое преисполнились пламенных надежд и радости. Правда, надежды не оправдались, правда, радость оказалась кратковременной. Но судьба преследует свои особенные цели, скрытые до поры до времени от понимания людей. Плетет и плетет старуха-судьба свою сеть, улавливая в нее людей, мнящих себя героями и остающихся пустыми марионетками в руках рока. В это время прозорливая, великая женщина¹⁰ писала одному из своих зарубежных друзей: «Если Франция выйдет из теперешних затруднений, она станет могущественнее прежнего; но ей нужен человек, выходящий из ряда, искусный, отважный, стоящий выше своих современников, а может быть – и выше своего века. Родился ли такой человек? От этого зависит все!» Крушение надежд, даже гибель жизней, родившиеся из этой счастливой по виду случайности, оказались нужными судьбе для доказательства, что такой человек родился и что он действительно стоял выше современников и века!

Что же произошло? Да сущие пустяки! Просто генерал Бонапарт приревновал Жозефину к Ренэ Карьо!

Уже несколько раз случалось, что Наполеон заставал у своей возлюбленной юношу, сейчас же уходившего при его появлении. Бывало и так, что, уходя от Жозефины, Бонапарт встречал Ренэ, направлявшегося туда.

Однажды поэт явился к Жозефине со своей пьесой в кармане, не зная, что у креолки в этот момент находится Напо-

¹⁰ Екатерина Великая – Гримму, письмо от февраля 1794 г.

леон. Впрочем, даже и зная это, Ренэ не повернул бы обратно, как обыкновенно, а все равно прошел бы к Жозефине. Юноша был взволнован до полного отчаяния. Как говорил он Луизе, он уже не мог долее ждать признания и успеха, так как все жизненные силы иссякли у него за долгие годы страданий и лишений. Вот уже целую неделю он приставал к Жозефине, чтобы та дала ему возможность ознакомить избранное общество с пьесой. Пусть вдова Богарнэ устроит у себя небольшой вечер для избранных, пусть она пригласит туда влиятельных лиц от политики, литературы и театра для прослушивания пьесы, которую прочтет Ренэ; тогда по их реакции сразу будет ясно, может ли он, Ренэ, ожидать чего-либо от своего таланта.

Но Жозефина рассеянно выслушивала юношу, не говорила ни «да», ни «нет» и, по-видимому, даже не давала себе труда понять, что именно он хочет от нее. Ей и действительно было не до него. Бонапарт становился все настойчивее в своих домогательствах ее руки, все властнее предъявлял свои права на нее. Между тем креолка уже теперь, когда они не жили вместе, а только часто виделись, находила невыносимыми оковы, наложенные на нее ревнивым, властным возлюбленным. Что же будет, когда она станет его женой? К тому же в последнее время Баррас снова стал проявлять к креолке особый интерес. Сластолюбивый директор дал понять Жозефине, что Тереза Тальен уже прискучила ему своей опекой, но в ее руках находятся некоторые важные тайны,

что заставляет его быть крайне осторожным. Однако при малейшей возможности... Жозефина уже предвкушала торжество над подругой и в счет этой «первой возможности» уже охотно подарила Бар-расу два поэтических свидания наедине. Да, да, связь с Баррасом ничуть не была похожа на кошмарную связь с диким корсиканцем. По меткому выражению одной из временных подруг директора, Баррас подходил к женщине, как кот к сливкам, а Бонапарт накидывался, словно голодная собака на мясо. Еще бы! В каждом движении Барраса, в каждой фразе, улыбке сказывались порода, воспитание, аристократические традиции, вся совокупность того, что не могут изгладить самые якобинские убеждения, а Бонапарт был истинное «дитя природы», непосредственное в своей дикости. Баррас с его ужимками маркиза доброго старого времени казался в любви ровным, теплым, ласковым ветерком, Бонапарт же был всежигающим самумом¹¹. Правда, многие женщины предпочли бы стореть в костре истинной страсти, но Жозефина не обладала темпераментом, она была только чувственна!

Да и с материальной стороны можно ли было поставить на одну доску Барраса с Бонапартом? Баррас – всемогущий господин Франции, щедро разбрасывающий золото пригоршнями, а Бонапарт – офицерик, умеющий только превозносить себя до небес. Ну, сбудется даже мечта его жизни, получит он командование итальянской армией. Конечно, это связано

¹¹ Жгучий ураган в Сахаре.

с роскошным жалованием, но... как предположить, что этот мальчик успеет там, где терпит неудачи «опытный волк» Шерер? А если неудача постигнет и Бонапарта, то сказка власти и богатства очень быстро рассеется, как дым, и что ждет тогда Жозефину?

Немудрено, если креолка была озабочена и рассеянна; целыми днями она кусала пальцы в бесплодных потугах найти какое-нибудь средство, чтобы отдалить от себя Бонапарта и обмануть бдительность Терезы. Ренэ не знал этого; он видел в рассеянности Жозефины просто невнимание женщины, охладевшей к недавнему возлюбленному, и разлетелся к креолке без предупреждения, надеясь застать ее врасплох.

Но он не мог попасть хуже! Тереза Тальен провела кое-что относительно последнего ужина Жозефины с Баррасом и нашла возможность мимоходом вернуть в разговоре с Бонапартом ядовитое словечко по этому поводу. Бонапарт кинулся к Жозефине с объяснениями, и Ренэ, влетев в комнату, застал как раз самый разгар семейной сцены. Креолка лежала в слезах на кушетке, а Бонапарт то осыпал ее страстными упреками, то с хрипом алчущей страсти кидался целовать лаковую туфельку изменницы. Увидев вошедшего Ренэ, он резко спросил юношу:

– Что нужно?

Поэт вспыхнул. Его нервы были так напряжены, что он забыл обычную сдержанность и насмешливо ответил:

– Разве я ошибся адресом? Мне кажется, что я – у граж-

данки Богарнэ и только хозяйка вправе задать такой вопрос!

– Молодой человек, – все тем же резким тоном продолжал Наполеон, – ты слишком часто повадился ходить сюда! Что тебе нужно? Чего ты ищешь здесь?

– Чего я ищу? – с холодным бешенством повторил Ренэ. – Но как раз того, что ты не можешь дать мне, гражданин генерал!

– А, значит, она... – хрипло вырвалось у Бонапарта.

– Вот-вот! – насмешливо подхватил поэт. – Гражданка Богарнэ как раз может дать мне то, что я ищу!

Вместо ответа генерал кинулся на юношу, левой рукою схватил его за грудь и занес для удара правую. Но тут на помощь подоспела Жозефина.

– Наполеон! – крикнула она, вскакивая с кушетки и кидаюсь к противникам. – Ты с ума сошел? Ты позволяешь себе кидаться на моих друзей? Кто дал тебе право на это? Как ты смеешь разыгрывать здесь роль хозяина?

– Зачем же твои друзья вызывают меня на бешеный гнев? – с некоторым смущением возразил Бонапарт, отходя к окну.

– Прошу извинить, гражданин генерал, но я ответил лишь вызовом на вызов! – с достоинством сказал Ренэ. – По какому праву вздумал ты требовать от меня отчета о цели моего посещения?

– По праву страдающего человека, измучившегося от вечных терзаний, но готового первым просить прощения, раз он

неправ! – ответил Бонапарт, и в тоне его голоса послышалось что-то страдальческое, надтреснутое.

Это тронуло впечатлительного юношу, и он весело ответил:

– В таком случае я должен просить прощенья, генерал! Мне как поэту, претендующему на знание людских сердец и страстей, следовало бы обнаружить больше проницательности и сразу понять, что означает твой гневный вопрос! Ну так позволь же мне, гражданин генерал, изложить тебе цель и причину моих частых посещений этого дома! Как я уже сказал, я – поэт! Я верю в свое призвание, верю, что Божество заронило в мою душу немалую искру, но мы живем в скверное время. Чтобы встретить признание общества, мало иметь право на это признание, а надо войти в моду. Гражданка Богарнэ, отличающаяся изысканным вкусом и любовью к изящным искусствам, почтила меня своим одобрением и обещала сделать для меня все возможное, чтобы обратить на мою личность внимание общества. Вот то, чего я ищу в этом доме: покровительства, без которого мне ни при каком таланте не удастся выдвинуться! А теперь это покровительство мне особенно нужно. Я написал пьесу, которую считаю очень удачной. Но мало того, какого мнения о своем произведении я сам, нужно, чтобы его оценили другие. А между тем дирекция театра только руками отмахивается от незнакомых авторов, являющихся смущать ее безмятежный покой! Гражданка Богарнэ некогда обещала мне посо-

действовать ее постановке, а теперь даже не слушает меня. Я заговариваю о пьесе, а она отвечает мне о своей любви к тебе! Сегодня я решил сделать последнюю отчаянную попытку, и... вот...

– Так вот что! – весь просветлев, став детски-ясным, тихим и радостным, воскликнул Бонапарт. – О, прости меня, гражданин, прости! – Протянув обе руки, Наполеон быстро подбежал к Ренэ, крепко пожал ему руки и затем обратился к Жозефине: – Простишь ли ты меня, злая мучительница? Значит, ты все-таки больше любишь меня, чем хочешь показать это? Значит, ты все-таки думаешь и говоришь обо мне? Но ты все-таки ошибся! – обратился он снова к Карьо. – Ты уверял, что я не могу дать тебе то, что ты ищешь, а между тем... Ведь Тальма – мой большой друг, и если я замолвлю ему словечко... Ага, – воскликнул он, заметив, какой радостью засияло лицо юноши, – то-то! Но сначала скажи мне, каков именно сюжет твоей пьесы?

– Основной мыслью ее является неизбежность для лица, стоящего у власти, столкновения между личными чувствами и государственным благом, правом, справедливостью. В таких столкновениях познается истинное величие личности правителя...

– Да, да, ты прав! – горячо подхватил Бонапарт. – Борьба личных чувств с государственным долгом – тот оселок, на котором не выдержало испытания много выдающихся исторических личностей! Это – прекрасный сюжет! Но кто – ге-

рой пьесы?

– Елизавета Тюдор.

– Отличная мысль! Елизавета Английская – бесспорно крупнейшая личность конца шестнадцатого века!

– И кроме того, ей, как женщине, подобные столкновения давались еще труднее. Вот в двух словах сюжет моей пьесы. Елизавета сидит за туалетом и разговаривает со своей любимой фрейлиной. Королева грустит, что отцвела, что старость делает ее нежеланной, непривлекательной. Фрейлина горячо и искренне протестует: королева так хороша, что может пленить любого мужчину. Тогда Елизавета поверяет фрейлине тайну своего сердца: она горячо увлеклась молодым графом Честером, героем, оказавшим громадные услуги государству. Скоро Честер явится к ней по ее вызову, и тогда она откроет ему свою любовь. Туалет кончен, Елизавета отпускает фрейлину, не замечая, как бледна и грустна девушка: фрейлина помолвлена с Честером, они давно уже любят друг друга, именно эта любовь вдохновила графа на подвиги! Следует монолог королевы о любви. Появление Честера. Елизавета начинает говорить о заслугах героя, переходит на свои чувства. Очень длинная сцена с нарастанием трагизма, которое разрешается бурей, когда королева прозревает истину. Тут одно из самых эффектных мест: королева разражается бурным монологом наедине, и в этом монологе переплетаются три ее сущности: женщины, королевы и государыни. Как женщина – Елизавета страдает от обману-

тых надежд, как королева она мучается от уязвленного самолюбия, оскорблена за бессилие сана, но как государыня – она не может ни отвергнуть право Честера и фрейлины следовать естественному влечению сердец, ни отрицать заслуги Честера и полезность для государства его деятельности. И вот буря мало-помалу утихает, чувство долга, сознание права торжествуют. Елизавета приказывает позвать Честера и фрейлину, соединяет их руки, осыпает подарками. Она весела, шутит, смеется, не изменяя величию прирожденной королевы. Но вот счастливая парочка уходит. Елизавета снова одна. Королевское величие сразу покидает ее, сгибается гордо выпрямленный стан, и перед зрителями уже не государыня, а просто отцветшая, несчастная, страдающая женщина. Сгорбившись, пошатываясь, уходит Елизавета из комнаты, кидая несколько скорбных слов о том, что ее время прошло и что ей, как женщине, пора сойти со сцены!

– Великолепно! – горячо воскликнул Бонапарт. – Вот что, друг мой, не надо терять время даром! Сейчас я напишу записку Тальма, ступай сейчас же к нему и... хватай свое счастье за рога!

С запиской Бонапарта в руках и с рукописью в кармане Ренэ Карьо вошел в кабинет к великому артисту. Тальма, переживавший как раз острейшие минуты хандры, мучившей его уже два месяца, встретил юношу хмуро и почти неприветливо.

Записка Бонапарта заставила его лицо просветлеть.

– Пьеса? – торопливо и радостно воскликнул он. – Давайте ее сюда скорее, друг мой! Если в ней есть хоть капелька смысла, то вы не могли попасть лучше! – Тальма лихорадочно схватил рукопись, но при первом взгляде на нее его взор снова омрачился. – В стихах! – недовольно протянул он. – Странное дело, господа авторы никак не могут отступить от заезженного трафарета! Если драматическое произведение – значит, оно должно непременно идти в принужденное ярмо рифмованной речи! Но зачем же так пренебрегать разговорной речью? Почему же действие, изображающее клочок жизни, не ведется на том языке, которым пользуются в жизни? – Тальма пожал плечами и хмуро перелистал рукопись. – В одном действии при такой длине! – еще недовольнее воскликнул он. – Да ведь, судя на глаз, тут хватит на час, на час с четвертью! А сколько действующих лиц? Трое! – с ужасом воскликнул он, заглядывая на вторую страницу. – Друг мой, вы, должно быть, никогда не бывали в театре и не слышали ни одной пьесы! Да разве высидит публика час в театре, выслушивая бесконечные монологи, видя все одних и тех же персонажей? Вот не угодно ли! Монолог королевы Елизаветы, тянувшийся целых семь страниц! Нет, друг мой...

Тальма машинально пробежал глазами несколько строк и сразу оборвал свою фразу, которой уже собирался положить печальный конец надеждам поэта. Затем он кинул взгляд на рукопись тут и там, потом раскрыл ее и начал читать с начала. Было видно, что уже первые строки сильно заинтересо-

вали его. Положив голову на руки, Тальма читал, все быстрее переворачивая страницы.

Ренэ сидел, боясь шелохнуться. Вся жизнь сосредоточилась у него в этой минуте.

Наконец чтение кончилось. Тальма перевернул последнюю страницу рукописи, мечтательным взором окинул комнату, словно проснувшись от какого-то поэтического сна, встал и несколько раз прошелся по комнате. Вдруг он подошел к юноше и молча обнял его.

– Ваша пьеса прекрасна, друг мой! – заговорил наконец великий трагик. – В ней очень много недостатков, я их перечислил, но достоинства таковы, что о недостатках и думать не хочется! Да и то сказать, вы сумели даже недостатки превратить в достоинства! Ваш стих имеет все прелести живой разговорной речи, ваши длинные монологи идут с таким нарастанием драматического элемента, что их длинноты не чувствуются. Нет, ей-Богу, только большой талант мог создать такую вещь, и мы ее поставим... Правда, ваша пьеса требует колоссального напряжения от актера, бесконечно трудна для исполнения, но если ее играть как следует, то успех обеспечен!

Словно в чад у слушал Ренэ Карьо все эти хвалебные речи. Он молчал. Да и что мог он сказать, если то, что он чувствовал, выходило за всякую грань изобразительной способности человеческого слова?

XI

Адель была очень изумлена, когда, встретив ее в театре на репетиции, в которой Гюс по-прежнему оставалась незанятой, Тальма отвел ее в сторону и сказал:

– Пожалуйста, Гюс, зайдите ко мне завтра часов в двенадцать. Я буду просить вас о большой услуге!

Вплоть до того момента, когда надо было идти к великому артисту, Адель просто не жила. Весь день она ничего не ела, ночью не могла заснуть. Услуга, которая могла понадобиться от нее трагику, интриговала и восхищала ее. Иметь возможность сделать что-либо для него, обожаемого, тайно любимого! Уж это одно – счастье! А сверх того, почему именно она избрана дивным артистом для оказания этой услуги? Значит, она не ошибалась, когда допускала возможность того, что Тальма питает к ней особый интерес? Значит, ее мечта пережить еще раз редко достававшийся на ее долю восторг разделенной страсти вовсе не так уже неосуществима?

Ровно в двенадцать, вместе с боем часов, Адель вошла в кабинет великого трагика.

– Здравствуйте, дорогая Гюс! – весело приветствовал ее Тальма. – Очень любезно, что вы откликнулись на мою просьбу! Дело, видите ли, вот в чем. Начинающий поэт принес мне свою пьесу. Ну, я кое-как просмотрел ее; по первому впечатлению пьеса как будто ничего; но, когда читаешь сам,

то трудно составить себе правильное представление. К тому же у меня стало что-то шалить зрение, так что я, в сущности, даже не прочитал, а просто пробежал творение молодого гения! Вот я и решил просить вас прочесть мне ее. Присаживайтесь вот сюда, в кресло, и пробегите пока пьеску. Через полчаса я приду, и тогда вы будете так любезны и прочтете мне ее!

Тальма вышел из кабинета. Адель с восхищением взялась за чтение пьесы «Елизавета Тюдор». Она и не подозревала, что Тальма попросту подстроил ей ловушку и вздумал провести маленький экзамен. Тальма сразу по прочтении пьесы решил, что роль Елизаветы как нельзя лучше подходит Адели, но хотел сначала проверить это предположение. Было бы слишком жестоко отнять роль у Гюс после первой репетиции, а пьеса могла иметь успех только при выдающемся составе исполнителей. Вот Тальма и придумал басню о своем плохом зрении.

Через полчаса трагик вернулся, и чтение началось. Сначала Адель так волновалась, что судорога то и дело перехватывала ее горло, из которого вместо слов вырывались какие-то нечленораздельные звуки. Но мало-помалу она овладела собой, к тому же пьеса увлекла ее, артистическая натура взяла свое, и Адель читала все лучше и лучше. Монолог, в котором Елизавета переходит от одного чувства к противоположному, где страдания женщины сменяются бешенством оскорбленной королевы, Адель прочитала с таким богатством от-

тенков, что Тальма только одобрительно крякнул. Заключительные слова королевы, которыми она прощается с молодостью и женским обаянием, произвели в устах Адели потрясающее впечатление.

– Ну, что вы скажете о пьесе? – спросил Тальма, с восхищением глядя на артистку.

– Но... я право боюсь сказать, – нерешительно ответила Адель, смущаясь, словно пятнадцатилетняя девчонка, под этим взором, восхищение которого она готова была приписать себе не как артистке, а как женщине. – Мне лично пьеса показалась... очень красивой... Думаю, что публике она понравится.

– Еще бы не понравится! – воскликнул Тальма. – Да что понимает публика, если ей может не понравиться такая вещь, как эта! Но, разумеется, пьеса требует соответствующего исполнения. Раздайте роли посредственностям – и публика по праву будет скучать. Ну, ролей в пьесе немного, так что подыскать исполнителей нетрудно. Распределение ролей напрашивается само собой. Королеву сыграете вы...

– Я? – пронзительно вскрикнула Адель, чувствуя, что ее сердце вот-вот остановится.

– Ну, конечно, вы, милая Гюс! – улыбаясь ответил Тальма. – Если вы до сих пор не получали ролей, то ведь их и не было! Но я нарочно просил вас прочесть при мне пьесу, чтобы убедиться, насколько вы годны для роли Елизаветы Тюдор. Теперь я убежден, что лучше вас ее никто не сыграет!

Ну-с, Честера сыграю я, а роль графини Лианы дадим этой вострушке Вангов... Но что с вами? – испуганно крикнул он, заметив, что Адель вдруг смертельно побледнела и безжизненно съехала в кресло, с которого было вскочила.

– Это – от радости, – пробормотала Адель, чувствуя, что все уплывает куда-то от нее и сознание заволакивается радужной дымкой.

После краткого упадка сил, вызванного неожиданной радостью, Адель испытала длительный период величайшего подъема. Она не жила, а горела. Первым делом она кинулась в музеи и публичные библиотеки и лихорадочно ухватилась за все, касавшееся Елизаветы Тюдор, стараясь ознакомиться с эпохой того времени и с вкусами и привычками королевы. Дня через три ей принесли переписанную роль, и Адель засела за ее изучение. Гаспару приходилось чуть не силой отрывать ее от работы, заставляя отдохнуть и поесть. Однако и это удавалось лишь вследствие указания на то, что, истощив себя и перенапрягнув свои силы, она будет не в силах сыграть роль с надлежащим подъемом. Это не было вымышленным предлогом; Лебеф и в самом деле очень опасался такого конца. Адель жила исключительно на нервах. Как легко можно было ждать, что этот чрезвычайный подъем вдруг в самую решительную минуту сменится полной прострацией! Адель слишком многое связывала с успехом в этой роли; все, – слава, материальное благополучие, осуществле-

ние сердечных мечтаний, – по ее мнению, зависело от того, как она сыграет Елизавету. А ведь ее нервная система была потрясена и надломлена ненормальностью всей ее пестрой жизни. При таких условиях нетрудно было ждать, что нервы сыграют с артисткой дурную шутку. Но Адель, плохо слушая увещевания Гаспара, продолжала ожесточенно работать над ролью, и Лебеф уже начинал смутно предчувствовать трагедию, которой суждено было так или иначе завершиться этой истории.

Занятая ролью Адель не ходила теперь в театр, чтобы бесплодно толкаться за кулисами. Поэтому она не имела понятия, какую бурю вызвало известие о постановке этой пьесы.

Артисты «Комеди Франсэз» жили дружно, сплоченной семьей. Конечно, и у них, как во всякой семье, порой происходили ссоры и свары. Бывало так, что вся труппа разделялась на две партии, и личные счеты между двумя премьерами или премьершами превращались в целую войну «алой и белой роз». Но это были семейные дела-делишки, которые не выносились за пределы театра, зато, стоило актеру столкнуться с кем-нибудь из внешнего, не театрального мира, как разом забывались всякие личные разногласия, и вся труппа, как один человек, готова была выступить в бой за оскорбленного товарища. Таким чужим для труппы человеком была Гюс.

Когда Адель приняли в труппу и стало известно, что это было просто актом милосердия со стороны дирекции, никто

из труппы не спорил против того, что так и нужно было поступить: актер отдает всего себя театру, кому же, как не театру, поддержать его тогда, когда этот актер теряет силы и здоровье? По прошествии одного-другого месяца кое-кто стал даже поговаривать, что не худо было бы дать Гюс какую-нибудь незначительную рольку, так как тем, что ее не занимают в пьесах, подчеркивается благотворительный характер ее ангажемента, а подавать милостыню так, чтобы принимающий почувствовал это, значит поступать по-фарисейски.

Но этим и ограничивалось отношение труппы к Адели. Она представлялась артистам человеком другого века и мира, каким-то живым анахронизмом, случайно уцелевшим осколком давно прошедших времен. К тому же многие относились к ней с плохо скрываемой брезгливостью, вспоминая все нечистоплотные анекдоты, ходившие в обществе про эту гетеру времен Людовика XV. Словом, никто из всей труппы не считал Аделаиду Гюс членом своей корпорации: она была лишь терпимым наростом в труппе.

И вдруг этому только-только терпимому «наросту» сразу поручают выигрышную роль, одну из тех, которую с благодарностью взяла бы любая премьерша труппы, имеющая к тому же бесспорное право на это! Пришла неведомо откуда какая-то дряхлая, отставная блудница, и ее ни с того, ни с сего ставят на первое место!

Первая забила в барабан Мари Вангов. Эта артистка не забыла, как отчитала ее Адель на вечере у Барраса, как сама

она не нашлась, что ответить Гюс, и как Тальма взял сторону «старой кикиморы». И что же, теперь Тальма довершит торжество этой «мерзкой особы», давая ей первую роль пьесы, где она, Мари, будет только подыгрывать?

Вангов ударила в слезы и подняла на ноги всю труппу. Артисты, конечно, приняли ее сторону, хотя личные мотивы этого протеста Мари и не высказала. Недаром же театральным прозвищем Вангов было «Тартюф»! Лицемерка сумела выставить дело так, что она обижена за всю труппу, которой наносится оскорбление таким выбором. Конечно, если кто имел бесспорное право на роль Елизаветы, так только Белькур, по прозвищу Медуза.

Другие, по преимуществу мужчины, усмотрели в этом еще и иную сторону. Почему, по какому праву Тальма так бесконтрольно распоряжается делами труппы?

Словом, труппа зашумела, как потревоженный осиный рой. Но шумели только между собою, наружу же этот протест не выливался. Все знали, что обаятельно любезный, мягкий, обходительный Тальма порою превращался в дикого зверя, особенно, если затрагивали его артистические прерогативы. Кое-кто из смельчаков попробовал было вступить с Тальма в пререкания, когда, ставя какую-нибудь пьесу, великий трагик требовал от играющего тех или иных оттенков. Достаточно было двух-трех попыток, чтобы отбить у самых смелых членов труппы охоту возобновлять их когда-либо.

Да, с Тальма шутки были плохи, и потому никто не высту-

пил с открытым протестом. Не могла сделать это и Вангов, питавшая особые надежды относительно Тальма. Поэтому буря, поднявшаяся при первом известии, быстро улеглась, уйдя внутрь.

Но на первой же репетиции, на которую собралась большая часть труппы, буря вновь вспыхнула с удесятеренной силой.

Этому было много причин. Во-первых, Гюс, встреченная всеми с молчаливым, враждебным презрением, искренне не заметила этого. Адель была слишком взвинчена, чтобы заметить что бы то ни было. Она покорно следовала всем указаниям Тальма, десятки раз повторяла одну и ту же фразу или жест, пока не добивалась желаемого Тальма результата, а по окончании репетиции ушла домой, не делая попытки заговорить с кем бы то ни было. Поэтому все, особенно женщины, решили, что Гюс разыгрывает из себя настоящую королеву, что она уже вообразила себя настоящей премьершей и, только терпимая, принятая из милости, позволяет себе смотреть на остальных членов труппы сверху вниз.

Второй причиной было то, что Тальма, ласково ободрявший Гюс, сделал несколько резких замечаний Вангов и даже накричал на нее. Никто из труппы не захотел признать, что Гюс знала роль назубок, а Мари только-только удосужилась проглядеть свою. Нет, в этом хотели непременно усмотреть желание Тальма выделить Гюс за счет признанного члена труппы, и негодование артистов еще усилилось.

А третьей и главной причиной было то, что все с первых же фраз, произнесенных Аделью, должны были внутренне признать, насколько Гюс... хороша в этой роли! Окажись Адель слабой, смешной, вызови она насмешки и брань Тальма, с нею, пожалуй, примирились бы. Но она оказалась на своем месте, и этого уже никак нельзя было простить.

Конечно, в присутствии Тальма никто не осмелился дать волю своим чувствам, но, когда трагик ушел, присутствующие разразились бурным негодованием.

Для большинства весь протест ограничился этим негодованием и обещаниями дать «пройдохе Гюс» почувствовать, что значит добиваться ролей «нечистыми путями». Но Вангов, которой такого пассивного протеста было мало, сейчас же образовала маленький дружеский комитет из нескольких лиц и увезла их к себе завтракать. Сюда вошли Медуза Белькур и Люцци в качестве обиженных Тальма, «Прекрасный Иосиф» Курвиль в качестве верного рыцаря кокетливой Люцци, Дюгазон, который рад был замешаться в любой заговор, и его жена, отличавшаяся решительностью и неустрашимостью.

За завтраком настроение, оживленное коньяком, с которого начали, дошло до надлежащих «градусов» за шампанским, которым кончили еду. И вот тогда-то проекты, как проучить, и посыпались, словно из рога изобилия. Надо отдать справедливость застольным товарищам Мари Вангов – все они с честью оправдали ее выбор и показали себя достой-

ными членами комитета по устройству подлой западни Аделаиде Гюс. Но их изобретательность все же не могла удовлетворить мстительность Вангов; большинство проектов с адской изобретательностью имело целью «подложить свинью» Адели вообще, а для Вангов было важно, чтобы Гюс оскандалилась на премьере.

– Так вот что, – воскликнул Дюгазон, – помните, дети мои, что в сцене с Елизаветой Честер вынимает из кармана платок и вытирает себе лоб? Ну, так, давайте насыпем ему в карман нюхательного табака! Как только Честер вытащит платок, так тонкая табачная пыль рассеется по воздуху, и вместо блестящего диалога Елизавета с Честером разразятся громким чиханьем. «О, Честер... апчхи!.. Ты так... апчхи-чхи!.. пре... чхи!.. красен... апчхи!» – «Ваше... чхи-величество... апчхи!» – и так далее в том же роде!

Все расхохотались.

– Нет, это не годится, Дюгазон! – возразила Вангов, которая вовсе не хотела распространять удар также и на Тальма. – Это выйдет очень смешно, но не выставит Гюс в смешном виде, потому что публика сразу увидит здесь чей-то умысел. Нет, надо придумать что-нибудь такое, что не имело бы явного характера предвзятости!

Тогда опять посыпались планы, один подлее и изобретательнее другого.

– Полно, дети мои! – пробасила вдруг Дюгазон. – Все ваши планы потому и не годятся, что они уж слишком слож-

ны и хитры. Чем проще наносится удар, тем он вернее! Ну чего ради вы придумываете целые сложные инсценировки, в которых достаточно какому-нибудь пустяку не оправдаться, чтобы вся интрига полетела в воздух? Давайте рассуждать логически. Какая Гюс ни на есть, а все-таки актриса она настоящая, талантливая. И в таком случае непременно будет безумно волноваться.

– Странный вывод! – заметил Курвиль, пожимая плечами.

– Не странный, а верный! – поучительно возразила Белькур. – Что правда, то правда, детушки! Только бездарность никогда не волнуется. Я на своем веку много перевидала артистов. Да что далеко ходить! Посмотрите на Тальма. Он в двадцатый раз будет играть Нерона или Эдипа и все-таки перед выходом на сцену побледнеет и покраснеет, словно новичок! Нет, Дюгазон заметила это совершенно верно. Пусть же она продолжает, если надумала что путное.

– Итак, – снова начала Дюгазон, – Гюс будет неизбежно отчаянно волноваться, тем более что от этого спектакля для нее слишком многое зависит. Ведь провались она, и тогда конец всем надеждам! Ну, а если ее встретит успех, тогда она быстро станет модной актрисой, какой была полтора года тому назад. Ну-с, а когда человек так волнуется, то достаточно пустячка, чтобы сбить его с позиции. Между тем, заметьте, детушки, пьеса этого молокососа Карьо – вещица тонкая. Тут только спади с тона или сбейся с реплики – и конец! Ну а как вы думаете, если Тальма, которому она строит такие

влюбленные глазки, – вот старая дура! – шепнет ей в паузе бранное словечко? Тут, детушки, есть с чего голову потерять даже и не дебютантке!

– Да, но как это сделать? – нетерпеливо крикнула Вангов.

– Проще простого! – ответила Дюгазон. – Вы знаете, как Тальма не переносит, если от кого-нибудь пахнет вином. Ну, мы-то это знаем, а Гюс не знает. Представьте себе теперь, что я на следующей же репетиции сдружусь с Гюс. Перед спектаклем я приду к ней в уборную, она станет жаловаться мне на безумное волнение, а я тут как тут со спасительным бальзамом. «Выпей, мол, коньячка, это помогает!» А коньячок надо припасти предательский, уж не пожалеть денег. Вот моя Гюс хлопнет стаканчик-другой, а ведь старый коньяк пьется, как сливки, и только потом вдруг ударит в голову да в ноги. Ну тут мы двух зайцев уьем одним ударом. Во-первых – Гюс будет в растрепанных чувствах, во-вторых – как только от Гюс запахнет винищем, так Тальма невольно отвернется от нее; вы ведь знаете, он органически не может разговаривать с человеком, от которого пахнет вином! Ну а по пьесе они должны – в самом эффектном месте – быть совсем близко друг от друга! Тальма не утерпит, кинет ей какую-нибудь брань – ведь в таких случаях наш дивный Франсуа ругается не хуже любого извозчика! И если в результате Гюс не провалится с треском, то пусть меня черти живой в ад стащат!

Все бурными одобрениями выразили восхищение хитро задуманным планом. Только Вангов нерешительно сказала:

– Да пьет ли еще Гюс?

– Дочь моя, – сентенциозно ответила ей Белькур, – я знаю в Париже только одну женщину, которая не пьет, это – Венера Милосская из Лувра. Да ведь и то сказать, она – безрукая, а поднеси ей старого коньяка, так и она выпьет!

Громкий хохот был ответом на эту фразу, сказанную с видом глубочайшего убеждения. Затем обсудили еще кое-какие детали, и заговорщики разошлись с довольным видом.

XII

С каждой репетицией Гюс играла все лучше и лучше, а на генеральной просто превзошла самое себя. Видя это, опытная Дюгазон с довольным видом покачала головой и сказала Вангов:

– Ну, дочка, не стоило и огород городить! Теперь Гюс, наверное, провалится на спектакле без всяких наших ухищрений! Она играет не талантом, а нутром, ну а нутра-то не хватит навсегда! Ей нужно бы приберечь силы до спектакля, а она их все на репетиции израсходовала. Теперь я ручаюсь за успех: коньяк ее доконает!

Не только Дюгазон, но и сам Тальма выразил опасения, что Гюс не удастся провести в спектакле роль так, как на генеральной репетиции. Трагик с отеческой заботливостью высказал эту мысль самой Адели, подвозя ее на своих лошадях к дому. Он вообще оказывал ей ряд любезностей, которые Адель опять-таки, с упорством маньяка, истолковывала по-своему, не понимая, что это было отчасти данью ее таланту, а отчасти – желанием трагика пойти наперекор несправедливой враждебности всей труппы.

Остановив экипаж около улицы, где жила Адель, Тальма на прощанье кинул ей:

– Смотрите же, Гюс, слушайте меня! Не смейте больше дотрагиваться до роли, вы только хуже сделаете этим! По-

трудитесь все три дня побольше гулять, больше есть и спать. И помните: если вы будете держать себя молодцом на спектакле, вас будет ждать приятная награда!

Сказав это, Тальма выразительно подмигнул Адели, прищелкнул пальцами и уехал, ласково кивнув ей на прощанье. А Адель так и осталась стоять на улице, оглушенная приливом острой радости. Разумеется, ей и в голову не пришло, что награда, о которой говорил Тальма, заключается в контракте на очень хороших условиях, который в случае успеха должен был предложить ей для подписи директор театра. Нет, несчастная женщина приняла эти слова как обещание того, чему были посвящены все ее мысли в последнее время.

Долго простояла Адель на углу, пока экипаж Тальма не скрылся из вида. Тогда она повернулась, чтобы идти домой. Но тут ее взор упал на большую афишу, крупными буквами извещавшую, что в такой-то день труппой «Комеди Франс-эз» будут представлены «Елизавета Тюдор», пьеса в одном действии Ренэ Карьо, и «Доктор поневоле», комедия Мольера в трех действиях. Со странной отчетливостью бросилась Адели в глаза в ряду имен участвующих фамилия Гюс. И неожиданно она почувствовала, что в ее глазах зеленеет, а колени подгибаются.

До сих пор спектакль казался ей чем-то далеким, предположительным, туманным, и вдруг он сразу предстал перед нею в ясных, четких очертаниях. А вместе с этой ясностью в душе твердо определился вопрос: «Что будет, если ей не

удастся сыграть свою роль как следует?» Но от одной только возможности такого конца у Адели еще больше потемнело в глазах. Ей показалось вдруг, что она не знает ни строки из роли, она не помнит ни одного жеста, ни одного положения. Пошатываясь, добрела Адель до своей квартиры и там сразу улеглась в постель. В ее душе была какая-то безнадежная пустота; она лежала и думала, что если мертвые чувствуют что-либо, то их ощущения должны быть совершенно такими же.

Так пролежала Гюс несколько часов. Вдруг ею овладела безумная тревога, ей захотелось во что бы то ни стало побороть эту слабость. Она вскочила, кинулась к зеркалу, принялась повторять роль. Но тело словно одеревенело, ссохшееся горло пропускало неясные, хриплые звуки. И тогда Адель обратилась к бутылке с абсентом. Дело кончилось жесточайшей истерикой и сильной лихорадкой.

Так прошел первый день, не лучше был и второй. На третий наступили полный упадок, глубокое, тоскливое равнодушие. Адель лежала, ни о чем не думая. К вечеру она несколько оживилась, но очень мало. Гаспар Лебеф, сопровождавший ее в театр, был поражен ее равнодушием. Но стоило Адели только войти в свою уборную, стоило ей только увидеть приготовленные костюм, парик и принадлежности для грима, как равнодушие снова сменилось безумным страхом перед выступлением на сцене.

«Добрая» Дюгазон, зашедшая проведать Адель, «горячо» приняла к сердцу ее беспомощное состояние. Первым делом

она удалила из уборной Гаспара, заявив, что в минуты артистического волнения невыносимее всего видеть близкие лица. Лебеф ушел, оставив женщин одних и забравшись в намеченный им заранее уголок за декорациями. О том, что произошло в уборной, ему стало известно от самой Дюгазон, которая поспешила похвастаться своей ловкостью. Впоследствии она очень жалела об этом: когда интрига привела к своему печальному концу, негодование труппы, с обычной «справедливостью» масс, обрушилось на ту же Дюгазон.

Когда Адель пожаловалась Дюгазон на страшную слабость, интриганка сейчас же явилась с бутылкой коньяка и винным стаканом. Адель выпила глоток коньяка, но дальше пить отказалась, сославшись на то, что спиртные напитки дурно отражаются на ней, и приказала горничной подать стакан воды. В этот момент в уборную забежал сам автор пьесы. Карьё был смертельно бледен, видимо, внутренне волновался больше всех, но наружно оставался совершенно спокоен. Он осведомился у Адели, как она себя чувствует, сказал ей несколько ободряющих слов и сейчас же вихрем унесся вон: юноша не мог усидеть на месте!

Между тем, пока Адель говорила с Ренэ, Дюгазон долила стакан с коньяком доверху и, отодвинув стакан с водой, подставила на его место вино. Адель не глядя взяла стакан с коньяком и одним духом опорожнила его. Только выпив жидкость, она заметила свою ошибку. Дюгазон сразу увидела, как властно охватило опьянение Аделаиду Гюс; это бы-

ло мягкое, так сказать, лирическое опьянение, наиболее длительное и самое опасное.

Теперь Адели было «море по колено». Дюгазон подлила ей еще коньяка, Адель беспрекословно выпила. Томная, бессмысленная улыбка блуждала на ее лице. Когда дали звонок и надо было выходить на сцену, Гюс даже пошатнулась. Но она сейчас же справилась с собою и твердо вышла на сцену.

Началась пьеса вполне хорошо. Гюс сразу взяла верный тон, и ее разговор с Лианой с первых слов расположил публику к дебютантке. Зато поведение Вангов вызвало некоторое недоумение: Мари без всякой видимой необходимости несколько раз приближала свое лицо вплотную к лицу королевы. Никто ведь не мог знать, что графине Лиане важно было убедиться, сильно ли разит от королевы коньяком.

Зато первые звуки монолога Елизаветы, в котором королева говорит о своей неудовлетворенности, о страсти к Честеру, заставили Гаспара вздрогнуть и насторожиться в своем уголке. Адель несколько раз говорила ему, что чудные, глубоко поэтические строфы этого монолога производят на нее совершенно особое действие, что ей будто бы начинает казаться, что эти слова говорит не королева Елизавета, а она сама, Адель, что это она изливает в них свои страдания и чувства. И каждый раз Адель со скорбной улыбкой прибавляла, что боится, как бы вместо «О, мой Честер!» у нее не вырвалось: «О, мой Тальма!»

И вот с первых слов монолога Гаспар глубоко почувство-

вал, что это настроение теперь всецело овладело Аделью. Он знал специфические нотки голоса, свойственные именно ее личным переживаниям, и с тем предвидением, которое устанавливается при долгой близости к человеку, схватился за голову, чувствуя, что скоро произойдет то неизбежное, страшное, неотвратимое, чего он все время бессознательно боялся!

Однако зрительный зал отнюдь не находил чего-нибудь особенного в исполнении этого монолога. Наоборот, все были в восторге от захватывающей сердечности, с которой читала свою роль Гюс. Даже пустенькая Жозефина, сидевшая в ложе с Баррасом и в начале пьесы прохаживавшаяся насчет головной боли Терезы Тальен, помешавшей подруге Барраса быть на премьере, была захвачена звучными стихами пьесы и красивым исполнением.

Но вот снова входит Лиана, докладывая о графе Честере. Елизавета приказывает впустить его. Появляется Честер. По зрительному залу пробегает шепот. В чем дело? Почему у Тальма такой странный, недовольный вид, который сразу бросается в глаза самому ненаблюдательному зрителю? Из зрителей никто не знает этого. Зато знают актеры. Вангов уже успела шепнуть Тальма, что Гюс позорно пьяна и что от нее разит, как из винной бочки.

Елизавета благосклонно приветствует Честера, произносит хвалебный дифирамб его геройству и приказывает Лиане оставить их одних. Лиана уходит.

Вот тут-то разыгралась позорнейшая сцена, небывалая еще в летописях «Комеди Франсэз».

По пьесе Елизавета должна плавно встать, подойти к Честеру, заглянуть ему в глаза, положить руку на плечо. Тут именно страсть вдруг прорывается у влюбленной королевы и стоном кажется фраза: «О, мой Честер!», насквозь пронизанная зноем, желанием и трепетом. Как потрясающе удавалось это место Адели на репетициях!..

Елизавета встает, но не плавно, а резко, угловато, встает... и вдруг пошатывается. Неровным шагом подходит она к Честеру, заглядывает ему в глаза.

Но что это с Тальма? Он резко отворачивается от артистки, и видно, что его губы шепчут ей что-то, от чего Гюс вдруг замирает, словно пораженная молнией.

Пауза, бесконечная, жуткая, томительная пауза «О, мой Честер!» – шепчет суфлер, думая, что Гюс от волнения забыла реплику. «О, мой Честер!» – повторяет он громче. «О, мой Честер!» – надывается он на весь театр.

Кое-где уже слышатся смешки. Королева Елизавета нервно трясет головой, вытягивает шею, и видно, как конвульсивно содрогаются ее губы, почти с нескрываемым бешенством. Елизавета еще сильнее вытягивает шею, ее лицо дергается; видно, что она заставляет себя побороть судорогу, стиснувшую горло. Вот она раскрывает рот и... на весь зал несется громкое, судорожное «Куак!».

Тальма невольно отскакивает на шаг назад, бедная коро-

лева Елизавета напрягает все свои силы, и снова на весь зрительный зал несется все то же бессмысленное «Куак!».

Тальма делает резкое движение и поворачивается, чтобы уйти со сцены. Но под грохочущий смех зрителей Гюс кидается к нему, хватая его за рукав. Тальма резко отшвыривает от себя артистку и убегает. Из-за кулис слышится его бешеное: «Занавес!»

Словно оглушенная, стоит посредине сцены, схватившись за голову, бедная королева; стоит, пока занавес под смех зрителей медленно задергивается; стоит, пока кто-то из администрации объявляет «почтеннейшей публике», что «по болезни артистов» спектакль отменяется и публика приглашается получить деньги обратно.

Кто-то дергает Адель за рукав. Она дико озирается кругом и, пошатываясь, идет со сцены. В коридоре она наталкивается на Тальма. При виде Гюс у него вся кровь кидается в голову, он сжимает кулаки и кидается к ней с криком:

– А, подлая пьяница! Пропила спектакль! Не могла дождаться ночи, только бы добраться до вина! Негодница этакая! Так отблагодарить за все мои хлопоты, участие, заботы!

С душераздирающим криком кидается Адель к трагику.

– Не говори так! – задыхаясь, не помня себя, стонет она. – Не вино, о, нет, не вино... Любовь к тебе лишила меня силы и разума! Божество мое! Твоя близость лишает меня сознания и власти над собою! За один только ласковый взгляд твоих чудных глаз я рада отдать жизнь и кровь!

В группе артисток, наблюдавших эту сцену, слышится смех. Тальма вспыхивает еще больше и еще бешеной кричит:

– Ах ты, старая развратница! Да как ты смеешь говорить мне такие гадости! Будь проклят тот час, когда в моем сердце шевельнулась жалость к твоей убогой старости! Калека, пьяница!.. В гроб смотрит – и еще смеет думать о мерзостях! Да кому ты нужна, старая развалина!

Из угла выходит Гаспар Лебеф. Он подходит к Адели, берет ее под руку и говорит:

– Довольно унижений, Адель! Ты слышала? Богатый и счастливый не знает жалости к бедному и несчастному. Пойдем домой, Адель!

При этих ласковых словах Гюс вся съеживается в комочек, начинает трястись, словно осиновый лист, и детски-беспомощным голосом повторяет:

– Да, да, домой, братишка, домой!

Никто больше не смеется... В группе артисток, еще недавно смеявшихся, теперь никто не поднимает головы, не решается взглянуть друг другу в глаза. Им стыдно... Чего? Разве они неправы?

Должно быть, им стыдно того, что они так бесконечно правы перед этой искалеченной женщиной!

XIII

Зрители горячо обсуждали происшедшее. Никто не мог понять, что случилось. Правда, в первый момент весь зал был охвачен припадком сумасшедшего смеха, но когда рассеялось впечатление от внешнего комизма положения, все стали недоуменно пожимать плечами. Истину никто не мог угадать, и, может быть, поэтому ни у кого не нашлось слова сочувствия для Аделаиды Гюс. Наоборот, большинство сурово осуждало дирекцию, решившуюся дать дебют артистке, давно уже конченной для сцены.

В ложе Жозефины Богарнэ тоже не нашлось словечка сочувствия для нечастной Аделаиды Гюс.

– Я всегда говорила, что было бесконечным безумием выпустить эту развалину на сцену! – воскликнула Жозефина. – Тальма просто смешон со своими вечными увлечениями. Носился, носился он со своей Гюс, ну вот и пожалуйте! Но кого мне от души жаль, так это Ренэ Карьо! Бедный мальчик возлагал страшно много надежд на свою пьесу; еще вчера он говорил, что в случае провала «уйдет из мира». В монахи он, что ли, поступит? А досаднее всего, что теперь не знаешь, куда себя девать! Ужасно я этого не люблю! Все пошло прахом: и вечер пуст, да и ужин у Тальма обещал быть очень интересным. Ну что теперь делать?

Сказав это, Жозефина с капризной гримаской посмотре-

ла на Барраса. У директора слегка дрогнула губа, глаза плотоядно блеснули.

– Знаешь что, Иейетточка, – сказал он, близко наклонясь к креолке, – если ты не имеешь ничего против, то поедем ко мне. Мы мило поужинаем и... можем возобновить тот самый интересный разговор, закончить который нам уже три раза мешала Тереза! Надеюсь, что сегодня она нам не помешает. По правде сказать, мне этот вечный надзор порядком надоел. Ну, так едем?

Глаза Жозефины вспыхнули радостью.

– Но помилуй, дорогой Поль, – ответила она, ласковой кошечкой прижимаясь к нему, – когда же я отказывалась вести с тобой «интересный разговор»? Я... буду очень рада, если на этот раз Тереза не помешает нам.

– А я еще больше! – весело подхватил Баррас, увлекая креолку к выходу. – Я опять совершил большую неосторожность и недавно снова посвятил Терезу в большой секре... Уж и сам не знаю, что это на меня нашло, но теперь дело непоправимо. Тереза, овладев моими тайнами, все самодержавнее управляет мною. Во всяком случае именно в данный момент мне было бы неудобно дразнить ее... А ведь знаешь, Иейетта, почему-то Тереза опасается только тебя! Тебе это должно льстить! Однако вот и экипаж!

Они уселись. Кучер тряхнул вожжами и с места повел лошадей горячим бегом. Но только экипаж стал заворачивать за угол, как лошади вдруг сделали резкий скачок в сторону,

чуть не выбросив из экипажа седоков, и, храпя и вздрагивая, кинулись дальше.

– В чем дело, Огюст? – недовольно спросил Баррас.

– Да вот, гражданин, – ответил кучер, сдерживая коней и кнутовищем указывая на что-то серое, лежавшее у тротуара. – Пьяница, что ли, какой повалился!

Если бы было светлее, то и кучер, и ездоки могли бы заметить, что от «пьяницы» тянется струйка крови и что в его руке судорожно зажат пистолет. А если бы они проехали этим местом на четверть часа позднее, то видели бы, как два сержанта бесстрастно взваливали на носилки недвижимый, начинавший холодеть труп Ренэ Карьо.

– Бедный поэт «ушел от мира»; как говорил накануне. Неудача лишила его остатков жизненных сил. Пьеса была последней ставкой, поставленной в игре на жизнь или смерть; карта была бита, ставка ушла... Душа исстрадавшегося поэта обрела вечный покой!

Вот оттого-то и кинулись в сторону с храпом и дрожью умные кони! Но человек – наименее чуткое из животных. Ни Жозефины, ни Барраса не коснулось веяние смерти, осевшее мрачный перекресток. Да и до смерти ли было им, так страстно рвавшимся к жизни с ее чувственными радостями. Плотно прижавшись друг к другу, пронизанные трепетом вновь пробудившейся страсти, Жозефина и Баррас молча ехали всю дорогу, жадно считая минуты, отделявшие их от счастья обладания, и когда любовники вошли в кабинет

директора, их мощно кинуло в объятия друг друга, и они слились в долгом, пьянящем лобзании.

Креолка, так жаждавшая вернуть себе прежнее влияние на Барраса, вложила все свое искусство в этот хищный поцелуй; однако Баррас освободился от ее змеиных объятий и, подавляя дрожь чувственного волнения, воскликнул:

– Как неблагоразумно! Кто же начинает прямо со сладостей, Иейетта? Нет, дорогая, сначала чинно и мирно сядем за стол, поужинаем, скрепим вином оживление нашего союза, а потом... Ну, потом дойдет черед и до десерта!

Баррас позвонил. Два лакея внесли в кабинет столик, накрытый на два прибора, поставили рядом сервизный поднос на ножках, сплошь заставленный яствами и напитками, и удалились по молчаливому знаку хозяина.

– Ну-с, Иейетта, как же твои дела с Бонапартом? – спросил Баррас, когда первый голод был насыщен.

– Ах, не напоминай ты мне про этого безумца! Хоть бы вы услали его куда-нибудь! Я устала от его вечного неистовства и неустанного горения. Я – женщина, которая не может жить без улыбки и радости, а Бонапарт... Господи, да я еще не видала, как улыбается этот мрачный корсиканец! И смешно вообще, что ты говоришь о возможности брачного союза между ним и мною! Я понимаю, если бы вы дали ему какое-нибудь блестящее назначение, а так...

– Да, да, это легко сказать! – недовольно буркнул Баррас. – Неужели ты думаешь, что мы настолько уже богаты

силами, чтобы легкомысленно держать втуне такого выдающегося человека, как «генерал Вандемьер»? Только, видишь ли, мы находимся в положении голодного бедняка, которому дали крупную ассигнацию. Куска хлеба на эту ассигнацию не купишь – ее менять не станут, а ничего, кроме хлеба, голодному в данный момент не нужно! Дельные генералы были бы нам очень нужны в итальянской армии, но и думать нечего давать Бонапарту подчиненную роль.

– А он, конечно, мечтает о главенстве! Еще бы, он мне все уши прожужжал, каких великих дел натворил бы он, если бы ему поручили заменить Шерера!

– Что же, очень возможно, что он прав! Но я не могу пойти наперекор остальным товарищам, это значило бы взять на себя слишком большую ответственность и слишком многим рискнуть. Да, незавидное положение у нас теперь! Шерер не подвигается ни на пядь вперед, того и гляди – неаполитанцы соединятся с австрийцами, а если нас заставят уйти из Италии, вновь проникнуть туда будет уже гораздо труднее. Но что же делать, если Шерер ничего не хочет знать? На все наши письма, советы и требования он отвечает довольно вызывающе, а толка из его действий никакого.

– Ну вот и взяли бы Бонапарта! – смеясь воскликнула Жозефина.

– Да ведь говорю тебе, что его находят слишком молодым и преисполненным слишком фантастических планов. Карно уже склоняется теперь к решению заменить Шерера другим,

но имеет в виду кого-нибудь из старых генералов.

– Ну так придумай Бонапарту что-нибудь другое, Поль! – с капризной гримаской взмолилась Жозефина. – Ушли его посланником к шаху персидскому или китайскому богдыхану, только дай мне возможность свободно вздохнуть!

Эта капризная гримаска придала лицу чувственной крелки такое своеобразное очарование, что Баррас сделал движение, намереваясь заключить ее в объятия, но тут же смущенно замер на месте, так как из дверей послышался насмешливый голос Тальен:

– Вот как! Ты здесь, Жозефина? Гм... Вероятно, Баррас опять уговаривает тебя... выйти замуж за Бонапарта?

– Тереза, ты? – тщетно стараясь побороть смущение и разочарование, воскликнула Жозефина. – Как это ты очутилась здесь? Ведь у тебя болела голова?

– Потрудитесь ответить на мой вопрос! – властно крикнула Тереза.

Жозефина вспыхнула, вскочила со стула и вызывающе ответила:

– Нет это уж ты потрудись сначала ответить на мой вопрос!

Тальен сделала два шага вперед и впилась в подругу сверкающим бешенством взглядом. Но ее взор встретил такой же пламенный, такой же вызывающий взгляд.

– Вот как? – сказала Тереза после короткой, но многозначительной паузы. – Ты уже чувствуешь себя на положении

хозяйки?

– Нет, – отпарировала креолка, – я чувствую себя именно гостьей, которая не может признать хозяйские права ни за кем, кроме человека, пригласившего ее! Хозяйкой держишь себя ты!

– Ну ты достаточно знаешь мои отношения с Баррасом, чтобы признать это! – с горделивой улыбкой сказала Тальен.

– А ты достаточно знаешь, что связывает меня в прошлом с Баррасом, чтобы не удивляться, почему я здесь! – отпарировала Жозефина.

Тереза слегка растерялась и взглянула на Барраса, Жозефина тоже обернулась к нему, но директор тщательно рассматривал на свет вино, налитое в его стакан. Было видно, что он решил держаться «принципа невмешательства», предоставив соперницам разбираться, самим.

Это еще более смутило Терезу. Она не знала, как далеко зашла вновь ожившая привязанность Барраса к Жозефине, было ли это просто обычным капризом скучающего без «дивертисмента» директора или доказательством того, что старая любовь действительно «не ржавеет». Конечно, Тальен ни на минуту не подумала о том, чтобы сдать свою позицию без борьбы, для которой она была достаточно хорошо вооружена. Но пассивность Барраса до известной степени делала эту борьбу единоборством с креолкой, вот почему надо было изменить тон и прием нападения.

Но и Жозефину тоже немало смутила пассивность Бар-

раса. Она увидела, что тот ни единым движением бровей не поддержит ее. Можно ли было при таких обстоятельствах продолжать борьбу? Нет, победа могла принести не так много, а поражение – унести все. Если Баррас равнодушно предоставил соперницам самим как-нибудь решить вопрос, – значит, он так же равнодушно даст Терезе добить ее. Поэтому лучше было постараться выгадать как можно больше из данного положения, капитулировать с наибольшей пользой.

Мозг Жозефины лихорадочно заработал; с быстротой, с которой в минуту опасности у самого ограниченного человека созревает важное решение, креолка отчетливо увидела свое положение и единственный выход. Тереза не потерпит, чтобы они с Баррасом встретились еще раз. Вместе с окончательным разрывом отпадет и этот единственный солидный источник существования Жозефины. Значит, надо решиться на единственный возможный шаг – замужество. Но, кроме Бонапарта, кандидатов нет; придется взять Бонапарта. Однако за это Тереза должна помочь устроить Наполеону то назначение, которое даст ему блестящее положение и хороший доход. Это – единственный выход!

– Итак, – начала Тереза после молчания, в течение которого обе они так много обдумали, но которое продолжалось всего лишь несколько секунд. – Ты хочешь, чтобы я первая объяснила тебе свое появление здесь? Изволь! Около девяти часов моя мигрень так же сразу кончилась, как и началась

вчера около девяти вечера. Я приказала дать одеваться и поехала в театр. Там я узнала, что спектакль по непредвиденным обстоятельствам отменен, и решила поехать к Баррасу. Надеюсь, ты не найдешь ничего особенного в таком решении, зная, что связывает меня с Полем? Я понимаю, ты так обиженно ответила на мой вопрос потому что предположила, будто я выслеживала вас, шпионила... Нет, Жозефина, это не могло бы прийти мне в голову! Я знаю, что ты – моя искренняя подруга, что дружба ко мне удержит тебя от многого. Когда я ехала сюда, я даже не предполагала застать тебя здесь. Но... пойми и мое положение тоже! Теперь я уже в четвертый раз застаю вас. Три раза я совершенно так же случайно находила вас в оживленной беседе, и каждый раз оказывалось, что Баррас... сватает тебе Бонапарта!

– Ну и представь себе, что четвертый раз происходит то же самое! – горячо подхватила Жозефина. – Ты знаешь, что мы с Баррасом – старые друзья. Он очень близко принимает к сердцу мои интересы, он знает, что Бонапарт – единственный человек, о котором можно серьезно говорить в вопросе о моем замужестве; он знает также, что вопрос о замужестве – самый насущный вопрос для меня в данный момент. Что же удивительного, если Баррас воспользовался свободным вечером, чтобы поговорить со мною опять на эту тему?

– И так же безуспешно, как и в прошлые разы? – с еле заметной иронией спросила Тереза.

– Ну да, но это зависит не от меня! – тем же горячим тоном

ответила Жозефина. – Вот ты только что дала мне понять, что с моей стороны было бы не по-дружески, если бы... я... Ну, я не из таких, я уважаю чужие права... понимаю... Но, Тереза, тут есть от чего на стену полезть! В таком положении, как мое, махнешь рукой на всякую порядочность! Подумай сама: мне уже нечем жить, я старею, мне нужен муж...

– Так чем же для тебя плох Бонапарт?

– Тем, что у меня – двое детей, а у Бонапарта – целая орда братьев и сестер, которых он должен поддерживать! На что мы станем жить при его грошовом жалованье? А ведь нет ни малейших надежд на улучшение его положения, потому что Баррас упорно не хочет дать движение его способностям. Баррас сам только что жаловался мне, что из-за Шерера Франция переживает критический момент; он сам признался, что считает Бонапарта единственной удачной заменой Шереру, но чуть только заведешь разговор о том, чтобы так и было сделано, Баррас становится на дыбы и ни с места! Я теряю голову, не знаю, как мне быть... Я чувствую себя способной на все.

– В самом деле, Поль, почему ты не хочешь дать Бонапарту возможность показать себя? – спросила Тереза, сразу поняв, к чему клонит подруга, и соглашаясь этой ценой купить себе исключительное право на Барраса.

– Но, милочка, мы столько раз говорили об этом! – недовольно буркнул Баррас.

– Да, мы много раз говорили, и каждый раз ты не мог до-

казать мне свою правоту! Ты сам говоришь, что на Шерера надо махнуть рукой, сам согласился со мною, что если нас выгонят из Италии, то народ может восстать и раздавить вас, директоров, как мошек. Значит, чем же ты собственно рискуешь, попытав счастье с Бонапартом? А если даже ты и рискуешь при этом, то сделаешь это из любви к Франции и... дружбы к Иейетте! И то, и другое стоит маленького риска!

– Да как ты не хочешь понять, что я завишу в таких вопросах от товарищей-директоров? – с досадой крикнул Баррас. – Братся за борьбу, исхода которой с уверенностью не знаешь, рисковать своим положением...

– Каким это положением ты рискуешь? – с нескрываемым презрением возразила Тальен. – Друг мой, если ты так слаб и ничтожен, если ты не имеешь никакого влияния на дела Франции, значит, у тебя нет ни малейшего положения и ты ничем не рискуешь!

Баррас вспыхнул. Но в эту минуту в дверь постучали.

– Войдите! – крикнул Баррас, с облегчением думая, что какой-то избавитель явился как раз в тот момент, когда, припертый к стене, он должен был дать тот или иной категоричный ответ.

Но это был только лакей с пакетом от Шерера из итальянской армии, который был доставлен только что прибывшим курьером.

Баррас торопливо вскрыл пакет и погрузился в чтение. Но уже с первых строк его лицо, слегка было успокоившееся,

снова исказилось злобой и раздражением.

– Черт знает, что такое! – крикнул директор. – Этот Шерер позволяет себе третировать меня, как мальчишку! Он осмеливается высмеивать наши распоряжения и приглашает кого-нибудь из «граждан-директоров» явиться лично руководить армией! Нет, это переходит все границы! – Он встал, раздраженно прошелся несколько раз по комнате и, снова сев, взялся опять за чтение письма. – Дело в том, что я не сказал товарищам ни слова о своем письме к Шереру, – проворчал он, – но на счастье этот солдафон ответил на мое частное письмо в официальном тоне, и можно подумать, что он обращается ко всем нам... Да, да, тут найдется несколько строк, которые можно выставить, как личный выпад против Карно. Нет, этому пора положить конец! Теперь никто из директоров не будет отстаивать Шерера. Конечно, они опять затают старую песенку про молодость Бонапарта, но... – Баррас встал и с просветлевшим лицом обратился к женщинам: – Ну-с, милочки, Поль Баррас всегда был джентльменом, женщинам он ни в чем не может отказать! Хорошо, будь по-вашему! Бонапарт будет назначен главнокомандующим итальянской армией, мое слово вам порукой в этом! А теперь вам придется оставить меня. Сейчас я позову директоров на чрезвычайное совещание; письмо Шерера требует немедленного обсуждения и принятия мер!

Обе женщины с ликующим видом бросились к Баррасу. Он обнял их, отечески поцеловал каждую и затем, взяв за

талию, деликатно вытолкал в двери.

XIV

Всю дорогу из театра домой Адель ехала молча, как-то по-детски боязливо прижимаясь к Лебефу. Только войдя к себе в квартиру, она вдруг разразилась бурными рыданиями.

– Отвергнута! Опозорена! Высмеяна! – простонала она, разрывая на себе платье. – Все кончено! Все! Тальма, и ты мог!..

Гаспар с молчаливой скорбью присутствовал при этом взрыве дикого отчаяния. Да и что мог он сказать, чем утешить? Бывают трагедии, для которых нет слов сочувствия, бывают страдания, для которых не существует болеутоляющих средств!

Но истерические рыдания и выкрики вдруг резко оборвались. Адель смолкла, затем заговорила почти спокойно; только странная, блуждающая улыбка выдавала, что в душе ее что-то сдвинулось, произведя полный хаос.

– Я понимаю, – тихо, словно говоря сама с собою, начала Гюс: – Тальма слишком самолюбив и не мог простить мне, что из-за меня очутился в смешном положении. Но неужели он не мог понять, что я теряю неизмеримо больше? Завтра Тальма вновь выйдет на сцену, и в буре рукоплесканий забудется случай сегодняшнего вечера, а для меня кончено все... Нет, значит, у Тальма действительно ничего не шевелилось в сердце ко мне! А ведь еще говорят, что сильное влечение ро-

дит влечение, страстное желание – желание. Можно ли было желать пламеннее, чем я. И все-таки я не могла заронить в его гордое сердце искру страсти! Почему? – Адель вскочила и, подбежав к зеркалу, стала с бледной улыбкой рассматривать свое тело, все еще белое и упругое, кошмарно контрастировавшее с вялой отвислостью шеи, морщинами лица и с бредовой причудливостью выглядывавшее сквозь зияющие прорехи изодранного в лохмотья платья. – Разве это тело не прекрасно? – вновь заговорила Адель, и в голосе ее послышались безумные ноты больной страсти. – Почему же оно было бессильно зажечь ответную страсть? Почему? А я так долго готовилась к сегодняшнему дню, так пламенно надеялась на награду, которую ты обещал мне, мой бог! Каждым нервом, каждой жилкой, каждым изгибом это тело жаждало твоих ласк, а ты... Почему? – С жуткой напряженностью Адель впиалась взором в свое отражение, словно надеясь прочесть там ответ на свой вопрос. – Потому что ты молод, Тальма, вот почему! – ответила она сама себе, и болезненная гримаса исказила ее лицо. – Я сама была молода, я знаю, как глупа, как смешна молодость в своей неразумной требовательности. Разве сама я прежде не топтала с легкомысленной улыбкой чужих надежд, чужой страсти? Но я не могу! – вдруг хрипло застонала она, впиваясь скрюченными пальцами в космы растрепавшихся волос. – Я не могу!.. Я так ждала!.. Я горю! Да поймите же, я вовсе не стара, я хочу жизни, требую ласки! – Она замолчала, застыв в позе безудержного

отчаяния, и казалось, что это – не человек, а статуя, изваянная безумным скульптором в минуту кошмарного бреда. – Это – мечь бога любви! – глухо проговорила она затем, бессильно опуская руки. – Я смеялась над любовью, когда была молода, теперь молодость посмеялась над моей любовью! Не зная того, много зла натворила я... Ну, так пора исправить зло, там, где можно... Гаспар! – крикнула она, гордо и властно поднимая голову. – Подойди и обними свою Адель, которая отныне будет тебе верной и преданной подругой!

– Адель, – испуганно ответил Лебеф, – ты нездорова, у тебя лихорадка! Ну пойдешь, ляг! Я укутаю тебя потеплее, сбегаю за потогонным... Приляг, голубушка!

– Ты не веришь своему счастью, – воскликнула Адель, засмеявшись, и жуткой трелью повис в воздухе этот безумный, хриплый, старческий смех. – Но не бойся, я в своем уме и отнюдь не шучу! Я решила вознаградить тебя за долготерпение и преданность! Приблизься ко мне, мой Гаспар, и ты изведешь счастье, к которому стремился, о котором мечтал всю свою жизнь!

– Адель, голубушка! – ответил Лебеф. – Ну прошу тебя, приляг! Ты так много пережила сегодня... У тебя бред... Завтра мы вместе посмеемся над тем, что иной раз может прийти в голову в лихорадке. Успокойся, приляг!

– Раб! – с бешенством крикнула Адель, топая ногою. – Да никак ты сам в бреду и горячке? Ты осмеливаешься отвергнуть мою любовь, когда я сама снизошла до тебя? Иди сюда

и обними меня!

– Адель... умоляю тебя...

– Молчать! Как смеешь ты возражать той, которой обязан безусловным повиновением? Говорю тебе, я здорова и в своем уме! Ты – мой раб! Или ты забыл свою клятву? Или ты хочешь стать клятвопреступником на старости лет? Ну, живо! К моим ногам, подлый раб, презренная собака!

Теперь не выдержали уже нервы и Гаспара.

– Адель! – глухо сказал он. – Если ты на самом деле здорова и действительно можешь думать и понимать, то вникни в мои слова! Да, когда-то – это было давно, Адель! – я страстно желал тебя, забыв ради греховной страсти все на свете! Ты надругалась над этой страстью, приблизив меня к себе, чтобы сейчас же оттолкнуть и связать на всю жизнь неосторожно выманенной клятвой! Я поплатился за свой грех. Чем была вся моя жизнь до сих пор? Вот теперь я – старик, а много ли радости видел я в жизни? Была ли она у меня, эта личная жизнь? И тебе мало этого? Ты хочешь даже теперь, не щадя моей старости, надругаться надо мною, надругаться на краю гроба? Да, я – старик, Адель, но и сама взгляни на себя повнимательнее! Пусть ты не изжила своих страстей. Но на что же дан человеку разум, на что ему воля, если он не в состоянии вовремя остановиться, одуматься? Пора успокоиться, Адель, пора бросить мысли о мерзости, пора подумать о душе! Ты уверяешь, что здорова? И ты хочешь, чтобы мы, старики... теперь...

– Но я требую! – крикнула Адель, снова топая ногою.

– Ну, так я скажу тебе, что я лучше покончу с собою на твоих глазах, лучше возьму на душу смертный грех самоубийства, чем оскверню себя на старости лет! – крикнул и Гаспар, окончательно теряя власть над собою. – Этим ли ты хочешь наградить меня за преданность и службу?

Адель вздрогнула, отступила на шаг, и, казалось, что в ее испуганных глазах мелькнуло сознание того, что происходит. Она задрожала еще сильнее, пошатываясь, отступила к стулу и упала на него, трясась от судорожных рыданий. Лебеф растерянно смотрел на нее, не зная, что делать.

Так прошло несколько минут. Вдруг Адель подняла голову, энергично вытерла слезы и повернула к Гаспару свое успокоившееся, скорее окаменевшее лицо.

– Да, да, – тихо прошептала она, – все кончено, все! Но трудно сразу примириться с этим. Не бойся, братишка, безумие рассеялось; я ничего не потребую от тебя... Боже мой, только теперь я вдруг постигла... Всю жизнь, всю жизнь!.. Да, всю жизнь ты отдал мне! Спасибо тебе, братишка, за все, за все! Не твоя вина, если твоя самоотверженность дала мне так мало! – Адель встала, подошла к Гаспару и с тихой лаской поцеловала его в лоб. – Не бойся, я ничего больше не потребую от тебя! Я возвращаю тебе свободу.

– К чему мне свобода теперь? – с горечью уронил Гаспар, не обратив в первый момент внимания на странный тон, которым Адель сказала последние слова. – Еще десять лет на-

зад я благословил бы судьбу, а теперь... Зачем?

– Зачем? – повторила Адель со слабой, странной улыбкой. – Что можем мы знать об этом? Зачем мы вообще живем, зачем мы рождаемся, любим, ненавидим, к чему-то стремимся? Зачем?.. Что мы знаем о жизни? Словно слепые, мы бредем вперед, пока... пока не стукнемся лбом в стену! Зачем я жила? Не знаю! Зачем я творила столько зла? Не знаю. Почему я никогда в жизни не знала счастья? Не знаю. Вот я стою и озираюсь назад, на пройденный путь. Ну и что я вижу там? Ничего! К чему же я родилась? Зачем я страдала? Ах, ничего, ничего не знаем мы, братишка! Однако пора на отдых... на отдых. Прощай, братишка, и прости меня за зло, которое я причиняла тебе. Но я не была даже зла; я была только равнодушна, стремилась к свету, счастью, любви... Зачем? Теперь и сама не знаю! Прощай, прощай!

Адель с нежностью поцеловала еще раз Гаспара в лоб и ушла к себе.

Обеспокоенный странным тоном ее речи, Гаспар осторожно подошел к двери и заглянул в щелку.

Адель достала из комода небольшой деревянный ящик, отперла его и высыпала содержимое на стол. Это была целая горка маленьких портретиков. Гаспар узнал их. Все это были миниатюрные портреты тех, с кем хоть ненадолго бывала связана жизнь Адели. Многие из этих миниатюр были когда-то облечены в дорогие рамки, в золото, серебро и драгоценные камни. В годы нужды все это ушло, и только портре-

ты остались свидетельствовать о времени юного расцвета, о блестящей полосе ее жизни.

Теперь Адель разложила эти портреты на столе и стала поочередно брать их в руки, внимательно рассматривая. К некоторым она приникала губами, иным шептала слова о прощении, перед другими грозно сдвигала брови. Долше всего она смотрела на портрет Жозефа Крюшо, последнего человека, который подпал под ее женское обаяние.

Долго-долго смотрела Гюс на портрет. Вдруг она порывисто швырнула миниатюру на стол, и Гаспар увидел, что в ее руках очутился небольшой стеклянный флакончик. Адель перевернула его над своей ладонью, и на нее выкатилась маленькая серенькая пилюля.

Гаспар Лебеф с криком отчаяния ворвался в комнату. Но было поздно – на ладони не было ничего, а в кресле лежало, вздрагивая в предсмертных судорогах, то, что некогда звалось Аделаидой Гюс.

«Приключения девицы Гюс» кончились!

Эпилог

Вот, любезный читатель, я, Гаспар Тибо Лебеф де Бьевр, с Божьей помощью исполнил взятую на себя задачу по мере сил и разумения описать «приключения девицы Гюс».

Но боюсь, что ты остался бы недоволен, если бы я прервал свое повествование на смерти Аделаиды Гюс. Ведь главной моей задачей было показать тебе, как опасно забывать предупреждения святых отцов, предостерегавших нас от козней дьявола, так охотно избирающего женщину орудием людской гибели. Целью повествования было наглядно изобразить, как один неверный, необдуманый шаг может тяжелым бременем лечь на всю нашу жизнь. И ты был бы прав, воскликнув:

«Ну, хорошо, Аделаида Гюс умерла. Но ты сам, Гаспар Тибо Лебеф, что дала тебе самому обретенная наконец свобода, как устроил ты свою жизнь в дальнейшем и в какой мере отразилась на конце твоего существования тяжесть допущенной в юности ошибки?»

Сознавая правоту такого восклицания, я хочу, любезный читатель, вкратце рассказать тебе, что было потом.

На следующий день рано утром я уже был в конторе нотариуса, чтобы произнести обусловленную дядей Капрэ формулу и тем самым вступить в обладание оставленным им наследством.

Отложив прием всего капитала до более удобного времени и взяв пока несколько тысяч франков, я отправился хлопотать о погребении Адели. Скоро в квартире уже суетились гробовщики и цветочницы. В столовой устроили помост, обили его черным сукном и поставили на него гроб. Адель утонула в цветах. Смерть удивительно прояснила и омолодила ее лицо. Теперь в гробу лежала прежняя Адель, но с новым выражением на мраморном лице. Вокруг ее губ словно играла нежная, скорбная улыбка, и казалось, что лицо покойницы обратилось к небесам с робким вопросом: «Зачем? Я не знаю!»

Все эти хлопоты вначале совершенно не дали мне ощутить потерю. А затем в квартиру потянулись посетители.

Одной из первых прибежала Луиза Компуен. Девушка принесла несколько цветочков. Встав на колени, она долго и скорбно молилась у гроба, а затем сказала мне:

– Боюсь, что бедная Адель ушла не одна! Ренэ не показывался со вчерашнего дня. Он говорил, что не переживет провала. Но ведь пьеса не потерпела никакого провала! Неужели же он был так жесток, что оставил меня одну? – Девушка заплакала и продолжала: – Да, вот от какой случайности зависит иной раз жизнь человека... Ах, если бы у меня не было так много работы, я просто сошла бы с ума от тревоги! Но мне некогда даже задуматься! Ведь моя Жозефина – невеста генерала Бонапарта, который получил назначение главнокомандующим итальянской армии! И это тоже отчасти произо-

шло из-за этого несчастного спектакля!

Луиза рассказала в нескольких словах все то, что читателю уж известно из предпоследней главы, и ушла.

На смену ей явился Тальма. Он был очень бледен и ни слова не проронил из плотно стиснутых губ. Возложив на гроб принесенный венок, Тальма некоторое время молча всматривался в лицо покойницы и так же молча ушел.

Потом пришло несколько актеров и актрис. Кто с цветами, кто без цветов, но все – с явно сказывавшимся любопытством. Актеры взволнованно говорили о «несчастной интриге», жалели «бедную Гюс», сообщали, что «негодяйке Дюгазон» решено не подавать руки. Нельзя даже было сказать, что они неискренни. Но ведь артисты – что дети.

Под вечер зашла и Жозефина. Между прочим креолка рассказала мне, что Карьо покончил самоубийством и что она опасается за рассудок Луизы.

– Милый месье Лебеф, – сказала мне Жозефина, – вы только что потеряли близкого человека, а ведь испытываемое страдание располагает к сострадательности. Зайдите проведать Луизу. Она вас очень любит и уважает; может быть, вы найдете слова, которыми удастся вывести ее из этой страшной оледенелости! Вместе с тем, утешая чужую страдающую душу, вы, может быть, найдете утешение также и своим страданиям!

Жозефина ушла. До позднего вечера приходили и уходили сочувствующие и любопытствующие. Было очень тяже-

ло удовлетворять назойливое любопытство всех, и особенно отвечать на расспросы о панихидах и погребении. Что мог я ответить, когда я еще не знал, найду ли священника, который согласится похоронить такое «презренное существо», как актриса! По крайней мере приходский священник наотрез заявил, что никакие угрозы не заставят его и никакая сумма не соблазнит его совершить такой грех, как христианское предание земле актрисы – да еще самоубийцы!

Вечером я остался один с покойницей. Я принес кресло, уселся и глубоко задумался, глядя на лицо покойницы.

Я думал о том, что вот я теперь свободен и богат. Но зачем мне свобода, если она лишает меня единственного человека, с которым я сжился? Зачем мне богатство, если у меня нет никаких потребностей и ни одного близкого человека, которому я мог бы доставить радость? Зачем?

Я испугано вздрогнул: мне показалось, будто я слышу голос Адели, повторившей этот вопрос. И мне вспомнилось, как накануне она со своим скорбным, испуганным недоумением твердила: «Зачем? Я не знаю!»

Вдруг меня пронизала странная мысль. Вот Адель жила и вот умерла – умерла, потому что в решительную минуту ей вдруг перехватило горло!

Да, перехватило горло... А от этого умерла Адель, умер даровитый Ренэ Карьо. Наполеон Бонапарт сразу добился двух вещей, которых жаждал больше всего на свете: любимой женщины и командования армией.

Впоследствии, внимательно следя за головокружительной карьерой императора Наполеона, я нередко думал:

«Как знать, существовал ли бы когда-нибудь во Франции император Наполеон, если бы у распутной актрисы Гюс однажды не перехватило горло?»

Да, как знать! Но ведь мы ничего не знаем. Мы недоуменно вопрошаем: «Зачем?» А ответы знает лишь Тот, Кто ведет великую книгу непостижимых судеб!

Адель мне все-таки удалось похоронить честь честью. К счастью, не все священники так не по-христиански смотрели на вещи, как наш приходский. Да и то сказать – тогда не время было священникам перетягивать струны. Вот в эпоху реставрации они действительно показали себя! Тальма, этот искренне набожный человек, этот глубокий христианин, умирая, не допустил к себе архиепископа. Еще бы! Его сыновьям, учившимся в католическом училище и шедшим первыми в классе, отказали в выдаче заслуженных наград только потому, что они были детьми актера. Тальма перевел их в протестантское училище и на всю жизнь затаил в сердце укор представителям религии, которая вся основана на словах Спасителя, но не хочет вспомнить, как Божественный Страдалец укрыл словом всепрощения блудницу. А ведь блудница нарушила одну из основных заповедей Божьих, тогда как греховность актерского труда не доказывается ни единым словом Евангелия. Ну, да ведь и то сказать:

католицизм слишком увлекся задачей земного главенствования, чтобы не отойти от задач небесных!

Для места вечного успокоения многострадальной Адели я выбрал кладбище Пер-Лашез. Проводить покойную пришла почти вся труппа «Комеди Франсэз». С кладбища вся эта шумная компания отправилась в ресторан помянуть почившую, я же попросил Луизу Компуен зайти ко мне и посидеть со мной: мне вдруг показалось совершенно невыносимым очутиться в непривычной пустоте.

Луиза согласилась без труда. Слабо улыбнувшись одними губами – ее глаза продолжали хранить выражение испуганной окаменелости, – Луиза заметила, что теперь она может более свободно располагать своим временем: Жозефина повысила ее в чине, сделав своей компаньонкой, а для личных услуг наняты сразу две горничные.

Мы вернулись с девушкой домой. И вот тут-то между нами произошел разговор, многое решивший.

Желая вырвать душу Луизы из мертвенной скованности и вызвать благодетельные слезы, я заговорил об Адели и Ренэ Карьо. Но как ни старался я задеть самые чувствительные струны горя Луизы, ее лицо не смягчилось и ни единой слезинки не набежало на ее скорбные глаза. Когда ж я сказал ей, что слезы смягчают горе, что она должна постараться заплакать, девушка ответила мне:

– Но я не могу плакать, мне не о ком плакать! Разве только о себе... А Ренэ уже давно оплакан мною! Хотя я и не осозна-

вала этого, но с того дня, как он объяснился мне в любви, я непрерывно ждала такого конца. Еще до трагического исхода я уже оплакала своего возлюбленного, еще до его смерти я тайно выплакала все слезы! Я чувствовала, что Ренэ нечем жить. Разве он покончил с собою оттого, что спектакль был сорван? Вот к игорному столу подходит разоренный и ставит последний луидор. Карта бита, разоренный отходит в сторону и простреливает себе мозг. Разве оттого покончил с собою несчастный, что он проиграл? Нет, это произошло потому, что луидор был *последним*. Уже подходя к игорному столу, разоренный был приговорен... Ренэ уже давно осудил себя на смерть, так как в годы борьбы и страданий израсходовал все жизненные силы. Постановка пьесы была его последним луидором. Я давно чувствовала это, его смерть не была для меня неожиданностью... Ах, этот ужас парижской жизни! Сколько таких Ренэ бегают сейчас по улицам, задыхается в вертепах нищеты и порока!

– Да, Луиза, – согласился я, – и та, которую мы только что похоронили, тоже была порождением ужаса парижской нищеты. У Адели были хорошие задатки, но все лучшие дары небес обратились у нее в орудия порока, потому что некому было вырвать ее еще девочкой из когтей нищеты. Ах, какой злобной насмешкой судьбы кажется мне богатство, которое досталось мне именно теперь! Если бы эти деньги достались мне тогда, когда я только познакомился с Аделью...

– Но разве мало их, этих Аделей и Ренэ? – порывисто вос-

кликнула Луиза, судорожно ухватив меня за руку. – Разве добро должно твориться только по отношению к определенным людям, а не ко всем нуждающимся в помощи? Разве теперь, пользуясь огромной силой доставшихся вам денег, вы не могли бы заняться спасением несчастных птенчиков, гибнущих в когтях нищеты и мрака?

– Луиза! – воскликнул я. – Сам Бог внушил тебе эти слова! Ты указала мой путь!

И Луиза низко склонила голову и разрыдалась.

– Ах, – сквозь слезы бормотала она, – теперь мне легче! Теперь я вижу, что Ренэ умер не напрасно, не бесплодно.

И опять меня пронизал трепет при мысли о неисповедимости судеб Господних. Ничто не пропадает даром у Великого Сеятеля; каждое семя, брошенное Им в землю, погибает лишь для того, чтобы, умерев, родить новую жизнь. Мы же в гордом ослеплении разумом дерзко требуем отчета у небес, надменно вопрошая: «Зачем?» Словно можем мы своим слабеньким умишком постигнуть все мудрое величие, всю конечную разумность путей, которыми Господь ведет человечество через тернии жизни!

Вот так и живу я с тех пор. Где вижу несчастного, нуждающегося в помощи, там и спешу к нему на подмогу. Сначала я хотел основать нечто фундаментальное, какой-нибудь приют для детей, но потом раздумал. Есть что-то роковое в казенной благотворительности, лишаящее ее плодотворности

результатов. Нет, я решил слепо ввериться Провидению, полагаясь на Его помощь. И пока я не ошибся. Вот уже сорок лет занимаюсь я благотворением, и, может быть, только четыре-пять раз за это время деньги попали в руки обманщиков. Да и то – Бог с ними! Пусть они сами рассчитываются за это с Богом! А может быть, и этот обман нужен на что-нибудь? Как могу я знать?

Только порой мною овладевает тревожное сомнение. Что будет с моим делом, когда я умру?

Однако минуты этих сомнений редки и непродолжительны. Я твердо гоню их от себя, зная, что в нужную минуту Господь наставит и просветит меня. Ведь в этом деле я – орудие Его воли. О чем же заботиться, о чем же тревожиться мне?

Зато бывают минуты иных сомнений, иных терзаний, минуты, которые я уже не могу так легко отогнать от себя. Когда я слышу шум веселых голосов, вижу молодые, радостные лица, я невольно озираюсь на всю прожитую жизнь и с ужасом замечаю, что в ней не было ни радости, ни света. В биении юной страсти я один только раз отдался велениям тела, и вот за это страшная кара придавила собою всю мою жизнь! И тогда я хватаюсь за свою седую голову и корчусь в ужасе. Жизнь прошла, и ее не было.

И напрасно говорю я себе в эти минуты, что пути Господа неисповедимы, что невместно нам требовать какого-либо отчета у Него. Вся моя душа, все мое исстрадавшееся существо сливается в одном неудержимом вопле:

– Зачем?